

*Всеволод  
Иванов*

*Медная  
лампа*

**THIS MATERIAL ON LOAN FROM**

**SEATTLE PUBLIC  
LIBRARY**

**PLEASE RETURN WHEN FINISHED**

**RUSSIAN**

**LEW**

Всеволод  
Иванов

---

Медная  
лампа



МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1984

84P7  
И 20

Художник  
Валерий СМИРНОВ

**Иванов Вс. В.**

И 20 Медная лампа: Фантастические рассказы и роман. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 304 с., ил.

80 к. 100 000 экз.

В сборник известного советского писателя Вс. Иванова (1895 — 1963) вошли фантастические рассказы и роман «Эдесская святыня».

И  $\frac{4702010200-242}{078(02) - 84}$  087 — 84

ББК 84P7  
P2

© Составление. Оформление. Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.

---

## СОКОЛ

Возле кички, ближе к носу ладьи, обдуваемые теплым низовым ветром, сидели на жердях государевы сокола. Воевода Одудовский, плывущий в Астрахань, должен был отправить их далее, в дар персидскому шаху. Подле птиц постоянно дежурили ловчие, а поодаль, у борта, красовался стрелец в ярко-зеленом кафтане. Изредка стрелец выходил на кичку — настил из досок за бортом, откуда судовая команда отпускает и поднимает якорь, — и тогда стрелец видел в блеклых волнах оранжевую русалку с загнутым хвостом, нарисованную на «скулах» судна, белую резьбу по борту, квадратный и низкий парус, флюгер на мачте, длинную алую ленту под ним и вверху вырезанного из листовой меди архангела Михаила, трубящего в трубу благополучие и счастье путникам.

Трюм государевой ладьи был туго набит кипами мехов, кои надлежало обменять у персидских купцов на крупный, рассыпчатый рис, на сладкие да пахучие сушеные фрукты, на тонкие разноцветные шелка и на редких прирученных зверей, которых так любил царь Алексей Михайлович. Кроме тех мехов, в трюме лежали ядра и порох для астраханского войска. Лежала и обильная снедь воеводская, так как воевода плыл не один, а с женой да двумя дочерьми, которых показывал Москве в чайнии женихов. Женихов не нашлось, боярыня сердилась, боярышни капризничали, как малые детки, а веселому умному воеводе все было нипочем. До-



родный, смеющийся, румяный, в белой длинной рубахе из индийского шелка и в лазоревосиних атласных штанах, ходил он по судну и веселил всех.

Старался воевода развеселить и тех иноземцев, которых государь повелел доставить в Персию, ибо оттуда собираются они пробраться к себе в затейливую и ученую Флоренцию. Иноземцам — страшно вато. Путь домой через Волгу, Персию или Турцию — далекий и неверный, а что поделаешь?.. Другие пути, в тот 1664 год, еще более неверны. Через Польшу? Дороги туда забиты русским войском, сама Польша горит внутренними беспорядками, русские осаждают Глухов, шутит в степях гетман Тетеря, и непонятно, к кому он хочет: то ли к московскому царю, то ли к польской республике. Через север? Куда там. В Швеции — смута.

Иноземцев плыло на судне шестеро. Старшего из них звали мессер Филипп Андзолетто, его правую руку — Мальпроста, остальные были помощники в работе да слуги. Работали иноземцы в Москве золотую кожу да мебель и, наработав достаточно мехов и монеты, затосковали по дому. Особенно тосковал мессер Андзолетто.

Мессер Филипп — согбен, с красными, воспаленными глазами, и оттого кажется он чересчур старым и жадным. Мальпроста — высок и строен, потертый шарлахово-алый кафтан лежит на нем ловко, мягкие кисти его рук белы, и он ими гордится, стараясь прикоснуться до всего, что попадает на глаза. Он — удал, ловок на разговор, на охоту, на обольщение, — и женщины любят обольщаться им. Оттого мессер Филипп считает его хит-

рым и двоедушным, а держит при себе лишь потому, что — золотые руки. Филипп Андзолетто сгорбился на непрестанной, бессонной работе и на ней же испортил глаза; как ему бы, казалось, не ценить того, кто так несравненно умеет делать золотую кожу и драгоценнейшую резную мебель. А как ценить, если у тебя молодая жена и сердце твое молодо?..

Август выдался строгий, сухой. Словно что-то требуя, резко и неуклонно дул с низовья встречный ветер-лобач. Судно двигалось мешкотно навстречу грузной, пепельно-серой волне. Река омельководола, было много перекатов. Мужичья лямка не помогала, и в бечеву впрягали лошадей. Лошади тянули до тех пор, пока перед носом судна не образовывались груды песка, которые мужики и разгребали лопатами. Иноземцы шли тогда к носу судна, ждать, когда оно тронется.

Они с грустью глядели на пепельно-серые копны мокрого песка, медленно тающего в воде. Путь домой казался теперь особенно долгим. И, понимая их тоску, подходил к ним воевода Одудовский.

— Поесть-попить, люди добрые, не желаете ли? — спрашивал он радушно. — Брага есть, мед? Да и я с вами выпью!

Мессер Филипп сказывался недомогающим, а Мальпроста всегда соглашался. Накрывали стол. Слуга лил брагу в кубки. Воевода поднимал кубок за здравие гостей и, указывая на государевых соколов, говорил:

— Хороша охота? Приедете в Персию, шах покажет вам этих птиц в деле. Я бы тоже показал, но приказано держать их на жерди, смирно.

— Персы — грабители и обманщики, —

возражал Андзолетто. — Они нас обдерут и убьют, где там, синьор воевода, видеть нам соколиные охоты.

— А по-моему, милый учитель, — говорил Мальпроста, — синьор воевода прав. Персы чтут искусство, а равно и людей искусства. Мы сделаем красивое, обитое золоченой кожей седло для шаха, и он покажет нам свою соколиную охоту. И повелит проводить нас тихими дорогами вплоть до нашего родного моря!

На лице у мессера Филиппа появлялась такая скука, что воеводе Одудовскому делалось не по себе, и он, взяв кубок, отходил к соколам. Он слегка поднимал кубок, как бы за здравие этих прекрасных государевых птиц, и обращался оттуда к иноземцам:

— Жаль, мессер Филипп, что ты презираешь охоту. Ты бы порадовался и возликовал душою, глядя на этих кречетов. Смотри, как они атласно-белы! Они будто сами собой, во славу бога и спасителя нашего Иисуса Христа, испускают из себя свет. Эти кречеты, мессер Филипп, рождаются у нас на севере, и нигде больше! Посмотри на этого, третьего с краю, в синем колпачке. Он весь цвета белого рога, и даже у нас, на Руси, он считается за редкость.

— Слава, слава государю, вырастившему такого сокола! — воскликнул Мальпроста. — Ах, имей я эту птицу, я бы гордился ею, словно архангелом!

— Тьфу! Тьфу! Надо, Мальпроста, гордиться добродетелями, а не птицей, — говорил мессер Филипп, сверкая красным своим глазом. — Чти ранг человека, а не ранг птицы.

— Выше всего я чту ранг красавицы, дарящей меня любовью, затем — ранг короля, которому я делаю мебель и который мне платит исправно, а затем — ранг птицы, подобной этому кречету! — восклицал Мальпроста.

А мессер Филипп шептал молитвы. Он не желал слушать нечестивые речи, затрагивающие его и без того затронутую тайными помыслами душу. Ибо, глядя на волны, он смущенно переводил свой красный, воспаленный взор на прибрежные пески. Но и пески, — да простит господь бог грехи наши! — но и пески лежали волнами, напоминали ему о прелестях его молодой жены. «Вси бо предстанем судилищу...» — бормотал он и не находил сил окончить молитву. Его тянуло — стыдно сказать! — к Мальпроста. Хотелось узнать мысли помощника, а главным образом те, которые относились к молодой жене, к волнующим ее прелестям... «Вси бо предстанем судилищу...»

Судно, содрогаясь, заскрежетало по песку. Внизу, в трюме, что-то упало. Сокола на жерди затрепетали крыльями. Выплеснулась брага из кубка воеводы... Значит, опять вышли на прямую, глубокую воду, на плес.

— Обрыв видите? — спросил воевода.

— Видим, видим, — отозвался Мальпроста.

— Обрыв кончится, начнется село князя Подзольева. Богат князь! Много медов, да и романея водится. Хлебосольный, хоть и с придурью. Да вам небось с тоски да устатку на любую придурь весело посмотреть?

Стол убрали. Судно готовилось к причалу. Воевода пошел переодеться. Иноземцы остались одни.



Шли вдоль высокого светло-оранжевого обрыва. Обрыв весь в точках, норках. На обрыве — погост с тускло-сумрачными крестами и церковь грубой работы. Значит, верно, скоро село. Сел попадалось много, и мессер Филипп привык к ним. Не удивляло его и богатство, не удивляла и боярская придурь; видывал он и расписные хоромы князей, подражавших Коломенскому дворцу, видывал он и бедные хижины крестьян. Что ему княжья придурь? Он хочет домой, во Флоренцию.

Разве он не заработал ту пору, когда можно жить и не покидая прекрасных берегов Арно? Во Флоренции, неподалеку от главного моста, некий Каппиччо продает гостиницу. Дом этот хорошо посещается, так как стоит в центре города. Хватит ему золотить кожи, он хочет позолотить свое сердце! Он передаст Мальпроста мастерскую кож и мебели и, таким образом, избавится от его лисьего взгляда, который делается совсем душным, когда тот глядит на молодую жену хозяина. Мессер Филипп не допускал мысли об измене жены, но он знал, что такое годы. В его годы жениться — это все равно что призывать дьявола в полночь. Тьфу, тьфу!.. Мессер Филипп незаметно перекрестился и пообещал к тем мехам, что он вез для вклада в монастырь, прибавить еще бобровый мех для приора...

— Дорогой учитель, знаете ли вы, на какую придурь князя Подзольева намекал воевода?

— Нам уже не любопытна московская придурь, — сказал строго мессер Филипп. — Пожалуй, нам пора подумать о персидской.

— О, напрасно, мессер Филипп! Только

жирный, самонадеянный воевода способен называть любовь придурью. Любовь — жизнь! Жизнь — любовь. Так думает весь мир, и русские в том числе.

Прохаживаясь по палубе, они остановились возле жердей, где сидели сокола с «опутенками» на лапах и с клобучками из мягкой кожи, закрывающими глаза, чтобы до самого «пуска» не видали они птицы. Мальпроста, любуясь на кожу клобучка, что поднималась и падала возле отверстия, прорезанного для дыхания, сказал:

— Читали вы, синьор учитель, книгу «Декамерон» некоего флорентинца Боккаччо?

Мессер Филипп сухо ответил:

— Вздорная и пустая книга. Мессер Боккаччо написал ее вскоре после чумы, — да избавит нас господь от нее впредь! — после чумы, свирепствовавшей в нашем великом городе. Ему б следовало написать книгу смиренную и богоугодную, а он поступил постыдно. Весь его «Декамерон» повествует о том, как жены наутек, подобно зайцу от собак, убегают от своих обязанностей, а монахи.. тьфу, тьфу!.. Однако, Мальпроста, я, как справедливый человек, отдаю ему должное. Боккаччо раскаялся и написал позже «Корбаччо», книгу, наполненную почти аскетической ненавистью к женщине. Да будут прощены грехи его и да будет принята мирно душа его на небеса!

— Синьор учитель! Аскетические добродетели невыполнимы. Человек имеет право на любовь...

Мессер Филипп рассвирепел:

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Глупость? Это — правда, синьор учи-

тель! Она повсюду в воздухе. И даже здесь, в этих диких лесах, рождающих кречетов, в этой жадной до денег и почестей Московии. И в доказательство я расскажу вам о князе Подзолеве, историю любви которого узнал случайно. Но прежде всего прошу вас, учитель, вернуться к книге достопочтенного поэта Боккаччо, к «Декамерону». Помните ли вы, мессер Филипп, новеллу о соколе?

Мессер Филипп сказал, что, чем он будет запоминать гадости, лучше пусть ему отрежут руку. Мальпроста воскликнул:

— Новелла совсем не гадка, мессер! Это возвышенный пример любви, рассказанный с таким же мастерством, с каким мы делаем наши милые кресла и золотим наши дорогие кожи. Синьор Боккаччо рассказывает о некоем кавалере, долго и бесплодно ухаживавшем за одной прекрасной дамой. В любви к последней он прожил все свое имение и стал беден. Но он продолжал вздыхать по ней и плакать. И от всего его имущества, некогда принадлежавшего ему, у него остался лишь сокол, при посредстве которого, думаю, кавалер и добывал себе пищу. Он любил этого сокола безмерно. Так безмерно, что дама, насколько я понимаю душу дам, дама позавидовала этой любви. Однажды кавалер посетил даму. Как всегда, он стал говорить ей о любви. Она, смеясь, сказала: «Кавалер! Если вы желаете доказать мне свою любовь, заколите вашего сокола и — съешьте его!» И что вы думаете, синьор учитель? Кавалер зарезал свою любимую птицу. Зажарил! И он съел своего сокола, о великий боже!.. Но, что более удивительно, дама, дотоле непреклонная, полюбила кавалера.



Мессер Филипп Андзолетто сказал, что по-разному можно относиться к поступку кавалера, но нельзя отказать ему в том, что он последователен. Книга же Боккаччо безнравственна.

И, поджав губы и с усилием подняв голову, мессер Филипп посмотрел на берег реки осуждающим взглядом.

Ладья пристала к берегу. Упал с шумом парус и «гай», стая грачей поднялась с соседнего гумна. Судовая прислуга выбросила жалобно поскрипывающий трап. Вошел посланец князя, поклонился воеводе и сказал, что, прослушав обедню, князь Подзольев прибудет на судно, чтобы пригласить воеводу и гостей откусать хлеба-соли.

А на берегу, в рваных портках из дерюги, вывернув ладони и широко расставив босые, с большими пальцами ноги, стоял огромный седой мужик, один из крепостных князя. Насупив брови, напряженно глядел он на судно, на иноземцев, на соколов государевых, на государева стрельца в зеленом кафтане. По-детски неразумно и опасливо посматривал он: как бы не сглазили эти тонконогие иноземные черти, как бы не нанесли порчи. Уйти б, а уйти не хотелось. Мужик был говорлив, и казалось ему, что без его рассказов осиротеет свет...

Мессер Филипп глядел на берег, на седого великана мужика, и грезилась ему Флоренция, мост через Арно, гостиница некоего Каппиччо. С узкого балкона ее слышны и крики ослов на мосту, видны и лица погонщиков, их хворостины, а того ясней видно сейчас плотное тело его молодой жены, видно, как она юлит юбкой туда-сюда... Ах, какая ребя-

ческая, какая горькая тоска на сердце и как далек еще путь до Флоренции!

— Вы хотите слышать продолжение истории о соколе, мессер Филипп?

«Ах, этот Мальпроста! Ему б только любоваться на женщин и болтать о соколах. На московском сильном хлебе и дешевом мясе он располнел, стал розов и румян, окаянный Мальпроста!..» — подумал мессер Филипп.

— Какую еще историю?

— Историю удивительную, синьор учитель. — И Мальпроста продолжал: — Продолжение ее произошло триста лет спустя после того, как появилась книга «Декамерон» прославленного синьора Боккаччо. Из этого я вывожу то положение, что искусство более бессмертно, чем какой-либо дворянский род.

— Когда ты станешь дворянином, Мальпроста, — да поможет тебе в том бог! — ты будешь думать по-другому.

— Кто знает... но вернемся к князю Подзольеву, учитель. Вон его хоромы. Они велики и обширны. Велико и обширно все имение князя. Он горд под старость, а еще более горд, говорят, был в молодости. Он гордился своим умом, своей охотой и с большой торопливостью высказывал свою гордость. К тому ж отец его сильно увеличил богатство, а сестер и братьев у него не было, и, когда старый князь умер, синьор Юрий Подзольев остался единственным наследником. Он не знал, что делать со своими бесчисленными именьями и громадными капиталами. Представьте, синьор учитель, крышу, у которой нет стропил, нет тех самых бревен, которые всегда и везде служат основанием крыши.

— Бог — основание крыши нашей жизни, равно как и основание всего дома, — сказал, крестясь, мессер Филипп Андзолетто, одновременно стараясь отогнать воспоминание о крестном знамении, которое так плавно и красиво творит его молодая жена.

— Но ведь вы сами, синьор учитель, говорите, что схизматики отвернулись от истинного бога? Следовательно, князь Подзольев вдвойне не имел стропил. Но князь был удал, он настойчиво искал — и вот он встретил вдову боярина Мышарикова, очень богатую и очень степенную женщину, посвятившую себя после смерти мужа делам благотворительности и религии, тем более что детей у нее не было. Ей он бросит свои деньги! К ногам ее!.. Жениться на вдове, как вам известно, мессер Филипп, считается зазорным у русских. Но страсть настолько поглотила князя Подзольева, что он желал только этого зазорного поступка. Вдова плохо верила в его любовь. Прошлое растрясло ее, словно дурная дорога. Редко удавалось князю поговорить с нею. Подарков она не принимала. Князь Подзольев худел от любви, заперся в своих хоромах... И великие деньги оказались ненужными.

— У варваров, — сказал мессер Филипп, — любовь принимает грубые формы.

— О синьор учитель! — воскликнул Мальпроста. — Я рассказываю вам пример, доказывающий, что любовь одинакова и в теплом и в жарком климате, и на берегу Арно, и здесь, на берегу Оки. Князь Подзольев умирал от любви. Царь московский Алексей Михайлович, вы знаете об этом, мессер Филипп, очень любопытен к жизни своих подданных, и

он не замедлил узнать о затворничестве князя Подзольева, хотя и не знал причины этого затворничества. Царь уверен, что все болезни можно излечить охотой — и особенно охотой соколиной. Кроме того, царь уважал заслуги покойного старика Подзольева. И царь прислал в дар молодому князю любимого своего кречета. Редчайшего белого кречета, синьор учитель! Молодой князь, получив подарок, подумал, что надо показать его прекрасной и недоступной вдове, тем более что тогда вдова должна будет принять молодого князя. Кто откажется увидеть дар царя? Вдова действительно приняла молодого князя. Она посмотрела на кречета, перевела взор на молодого охотника и внезапно сказала: «Зарежь, изжарь и съешь этого кречета. Тогда я выйду за тебя».

Мессер Филипп Андзолетто сказал:

— Дьявол пришел к ним сбоку, Мальпроста, а они не заметили его. Помолимся за их грешные души.

На это Мальпроста ответил:

— Я хотел бы иметь жизнь этого дьявола, синьор учитель! Князь Юрий Подзольев, да будет благословенно его имя, съел кречета. И она вышла за него замуж. И они стали счастливы настолько, что царь, узнав о поступке князя, лишь рассмеялся. И прошло пятнадцать радостных лет, и оба они живы и наслаждаются доселе, синьор учитель! А вы говорите — дьявол!..

Мессер Филипп не стал спорить, да и к тому ж над селом, хоромами и рекой понесся такой горячий, рьяный колокольный звон, что на душе мастера золотых кож полегчало. Показалась толпа. Впереди ее шел высокий су-

тулый князь Юрий Подзольев. Платье на нем было скромное, но дорогое: однорядка песочного цвета с золотою строкою.

Звонко, по-боевому ступая, он прошел трапом на палубу, степенно отдал поклон воеводе. Воевода был польщен быстрым приходом князя. Накрыли стол. Но перед тем, как приступить к трапезе, князь попросил показать ему царские дары, которые вез боярин Одудовский персидскому шаху.

Благодаря рассказу Мальпроста мессер Филипп особенно внимательно рассматривал князя Юрия Подзольева. Князь был худ и длинен, как лестница. Лицо имел нездоровое, аспидно-серого цвета. Широкие костлявые плечи его указывали, с одной стороны, на былую силу, а с другой — на какой-то застарелый едкий недуг.

Полуприкрыв тонкими веками пемзовые сухие глаза, князь словно нехотя осматривал царские дары, нехотя принимал пищу, нехотя отвечал воеводе и только изредка остро посматривал на иноземцев, — и странен был этот взгляд. Он и спрашивал, будто сам же отвечал на вопрос...

Иноземцы вкушали за отдельным столом. Мальпроста, отличавшийся вообще ненасытным стремлением к еде, теперь ел мало. Он во все свои выпуклые глаза смотрел на князя, словно ожидая от него чего-то необыкновенного.

Покушав, князь встал и повторил свое приглашение, посланное утром через своего приближенного: отведать и его хлеба-соли, а буде явят милость, то посмотреть его животы-хозяйство. И к иноземцам он подошел. Слегка склонив голову, он спросил их: не пожерт-

вуют ли иноземные гости частью своего времени, чтоб посетить его дом и трапезу? И опять странно вопрошающим показался иноземцам его взгляд. Мальпроста сказал самому себе, ловя этот взгляд: «Спрошу!» А спросить он хотел — правду ли говорят, будто князь Юрий в младости съел ради любви своего лучшего сокола?..

Пока мессер Филипп удивленно шамкал желтым своим ртом, подыскивая слова, Мальпроста, расшаркиваясь, выразил князю живейшее удовольствие и радость. Они так наслышаны о богатстве, а особенно о княжьей соколиной охоте, так жаждут ее увидеть.. При этих словах князь, опять пытливо взглянув на иноземцев, отошел.

И село княжеское, и хоромы, и церковь, и службы — все поражало богатством, пышным, широким. Казалось, человек пожертвовал жизнью и честью для того, чтобы изумить других, ошеломить, задохнуться! Смолянобурые, вековечные и крепкие стояли могучие избы мужиков. Из закрытых пригонов доносился сытый говор скота. Пахло молоком, хлебом; густой дремо-пунцовый огонь виден был в печах; на крыльцо от печей выбегали бабы с лицами ежевичного цвета. Они низко кланялись проходящим.

Церковь снаружи была расписана цветами, а внутри — излагалась в поучительных и приятных картинах вся Библия. Направо, у клироса, было место князя. Здесь на стене худой и высокий старик в оранжево-красной ризе с гордым взглядом спускался в корабль. И было написано: «Иона сниде в испод корабля». Иноземцы не могли прочесть этой надписи — и потому, что их оставили на па-

перти, и потому, что церковнославянский язык им был непонятен. Впрочем, прочтя, едва ли б поняли смысл ее. Один лишь умный воевода Одудовский правильно разобрался в этой надписи. Он посмотрел на строгий взор Ионы, а затем сказал князю:

— А кого случится в смирение посадить, тот да сиди смирно. Ибо если и возопил Иона в испод, в низ корабля, так тот Иона был пророк. Князь Юрий Михайлович, неужто ты этого не знал?.. Сидеть тебе смирно.

Князь, точно не слыша слов воеводы, перекрестился на образ несговорчивого Никола, что находился против его места, и пожелал отслужить молебен о здравии царя. Мясистогубый поп начал, дьякон со злым сарацинским лицом подхватил песнопение, и в бронзово-серой дымке ладана исчезло надменное лицо Ионы и весь корабль его.

После молебна пошли осматривать хозяйство. Показывал князь конюшни и своего редкого чубарого коня, имеющего по белой шерсти рыжие пятна, а хвост и гриву черные. Конь храпел и бился возле стойла, словно неукротимый водопад. Глядя на коня, спросил воевода Одудовский:

— Неук? Не выезженная ни в упряжь, ни под верх? — И добавил, точно уже знал ответ князя: — Неук бьет, а обойдется, смирней коровы идет. Сиди смирно.

И опять был какой-то особый, скрытый смысл в его словах, но князь не верил этому смыслу и молчал. Он лишь, подойдя к коню, потрепал его по неудержимо длинной гриве.

Глядели игрневых, изжелта-рыжих, с белой гривой и белым хвостом; глядели чалопегих, а затем перешли в «череду», коровье

стадо, а из череды — в пчельник, в погреба, в амбары, на мельницу, шатровую, что поворачивается по ветру не воротом, а самим ветром. Добрых три часа ходили они по хозяйству, устали и проголодались. Князь заметил это и пригласил их к столу.

И хоромы у князя Подзольева были внутри расписные, до пояса в больших махрово-красных цветах, а от пояса в мелких эмалево-зеленых листочках. Мебель под цвет, под размер дома и негромоздка. Кажется — живи да радуйся! И однако, во всем — и в селе, и в церкви, и в хоромаш, и в службах — чувствовалась постоянная, неистребимая холодность; словно ворвалась сюда «фуга» — зимний ветреный холод, что продолжается иногда недели и загоняет отары в балки, ворвалась и поселилась здесь навсегда. От этого стойкого, решительного и непременно холода стынут руки и ноги, а того более стынет сердце.

Как начали, так и докушали молча. Не помогли ни жаренья, ни варенья, ни печенья, ни пироги, ни рыбы, ни птицы. Пасмурно сидел князь, пасмурно кушал и пил воевода. Хмуро сидели за отдельным столом иноземцы. И напрасно неугомонно суетились вокруг столов курчавые слуги.

Гости встали. Пора и домой. Пора судну отправляться, солнце склоняется уже к западу. Гости низко поклонились князю. Поклонился им и князь. Спасибо за хлеб-соль. Спасибо и вам, что не побрезговали.

«Значит, уходить? — подумал неугомонный и своевольный Мальпроста. — А как же — сокол? Узнаю ли правду? А как же ее узнаешь, если вовремя не уловишь?» И ре-



шился тогда на вопрос неуимчивый Мальпроста. Поклонившись еще раз, он сказал:

— Князь Юрий Михайлович! Славьтесь вы и охотой соколиной. Но не показали вы ее нам. Неужели так мы и уедем, не повидавши дивной охоты?

Князь изменился в лице. Бешенство потрясло всю его длинную фигуру так, что затряслись дивно алые кисти у его кушака. Но он быстро сдержал себя и ответил:

— Ладно, если ты такой уж задорный охотник! Покажу покой для воспитания соколов... да и соколов...

Они пришли в крыло дома, в большие покои с высокими окнами, чтобы солнечные лучи входили свободно и согревали ловчих птиц. Притолоки в окнах были широкие: для помещения жердей, на которых сидит птица. В изразцовых печах — по белому фону синие птицы, — несмотря на лето, тлел огонь, чтобы сокол у огня встряхивался и вытягивался, а это показывает его полное здоровье.

— О истинный боже, — воскликнул восхищенный Мальпроста, — как чудны твои дела и как все это прекрасно!

Князь порозовел. Воскликание хотя было произнесено и на чужом языке, но для охотника все языки понятны.

На полу лежали широкие дерюжины с травой — буде вздумают сокола слететь для прохлаждения ног. Невысоко от пола, поперек покоя, были протянуты березовые жерди, тоже для соколиного баловства. Под жердями стояли широкие лохани со свежеею водою, а вокруг лоханей все было осыпано речным песком и мелкими камушками.

— Дивно, дивно! — опять воскликнул

Мальпроста. — По всем приметам вижу перед собой добрых, настоящих соколов.

Князь сказал:

— Добрый сокол должен быть широк в плечах и сжимался бы комком и закладывал крыло на крыло так, чтобы концы правильных перьев уподоблялись разогнутым ножницам. Сокол, развешивающий крылья и не подпирающийся, показывает вялость.

— Так, так, князь! — воскликнул Мальпроста. — Флорентинцы считают, что у сидящего доброго сокола голова между плеч должна казаться как бы вдавленной. И должны быть у него толстые «еми», лапы, и большие когти. И весь он на руке вашей должен быть тяжел, как младенец. Добрые у вас, князь, сокола, безукорные!

Со вздохом сказал князь:

— Вижу много укора моим соколам. Но вся моя жизнь в том, чтобы вывести такого сокола, какого не было ни у кого...

Вдомек и в примету, пожалуй, было его восклицание понятно лишь воеводе Одудовскому, но воевода устал от пищи, дышал тяжело, и хотелось ему спать. Зевая, шагал он позади беседовавших и рад был видеть свое судно, берег и ковер, на котором можно было вздремнуть. Устал и мессер Филипп Андзолетто, устал, и мерещилась ему в туманном видении Флоренция, берег Арно и беспокойные, волнующие прелести его молодой жены... Не устал лишь один неугомонный Мальпроста.

Вернулись на берег к ладье. На том берегу княжьи ловчие били соколами птицу. Но не глядел туда князь.

Мальпроста видел с высокого берега Оки

стремительные, словно затканые серебром воды таинственной русской реки; видел он, как через эти воды идут плоскодонные лодки, как вздуваются рубахи гребцов, как лодки до краев наполнены дичью, а там, на том берегу, возле озер и притоков, все еще продолжается соколиная охота, все еще скачут всадники, махая «вабилами», слышен стук трещоток и рокот тулумбасов, поднимающих птицу с воды, все еще сокола делают «ставки», стремительно ударяя птицу сверху. Эти сокола и эти охотники — княжьи, а князь и не смотрит на них, князь думает о своем, еще небывалом соколе, которого он еще вырастит!

И тогда спросил Мальпроста — то, что он жаждал спросить, как только увидал князя Подзольева:

— Синьор князь! Таинственно прошлое, и недоступно для человека знание будущего. Может быть, поэтому и нескромно выпрашивать человека о том, о чем он сам не желает думать. Но я молод и отважен. Я спрошу! Ибо я вернусь во Флоренцию, и там меня будут расспрашивать: видел ли я князя Юрия Подзольева и правда ли, будто этот князь из-за любви к своей подруге зарезал и скушал редчайшего сокола? И еще меня спросят: видел ли я эту несравненную подругу?..

И опять бешенство пронеслось и сотрясло все тело князя. И опять он сдержался и сказал иноземцу:

— Мне вера: говорить тебе, иноземец, правду. Того кречета государева звали Носник. Кречет тот был с севера, а на севере зовут так умельцев, которые проводят судна, лоцманов, знающих русла. Кречет, как и все сокола, чем старше, тем ленивее в ловле. Нос-

ник не знал старости. Он был твердый, постоянный и неуклонный...

Князь вдруг наклонился к лицу Мальпроста, схватил его за виски и наклонил вниз.

— Видишь? — вскричал он. — Видишь, пристали к берегу лодки с дичью? Видишь бабу возле лодок? Кричит, суетится — нескладная, грубая, не выезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? — Он отпустил Мальпроста и, всплескивая руками, воскликнул: — Неужто я ее любил?.. Полно, ради ее ли зарезал государева кречета?! Неужели она, как саранча пожирает хлеб, пожрала меня?!

Во рту Мальпроста от изумления язык словно отмерз. Он раскрыл большой сочный свой рот и молча смотрел на князя. А князь продолжал молотить:

— Она, она!.. Это она, проклятая, все содеяла!.. Это из-за нее пожелкло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос. Из-за нее, узнав о судьбе Носника, государь рассердился и сказать изволил про меня: «Вот дурак!» Так и пошло. Так и стал я дураком! Так и пошло по всей Руси и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова «дурак» хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава, и честь, и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет честной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета... Погибло все! Топчусь я на

этом берегу возле Оки, опрокинут я, и дует на меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку...

Молчал Мальпроста, потрясенный правдой его слов. Мил ему был князь, мил и близок.

Князь холодно смотрел на иноземцев, а если и говорил с ними, по иной причине. Услышав, что приехали иноземцы вместе с воеводой и что иноземцы те — искусники, князь подумал: «А какое ж искусство больше всех ценит царь Алексей Михайлович? Соколиное! И раз иноземцы-соколятники едут с воеводой, то и везут к шаху персидскому русских кречетов...»

Спросил князь с великой надеждой в голосе:

— Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше Носника? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!

Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь забыл о князе Юрии Подзолеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.

Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Перетерпи и ты, отмолчись, коли можешь».

И князь отошел от него.

Рулевой закричал:

— Отчаливай, ребята! — и повернул широкий размокший руль.

Судно качнулось. Хоромы, церковь, избы мужиков, пестрая челядь княжья и сам вы-

сокий сутулый князь Юрий Подзолев — все скрылось за кораллово-красным лесом, над которым висело темно-пурпуровое солнце, горящее, что и завтра быть тому ж ветру, какой и сегодня.

Дюжий лоцман с окладистой бородой в синей рубахе, раздуваемой ветром, вывел ладью на плес, на самый судовой ход. Ладья шла самосплавом, да и мужики помогали бечевой. Бечева то натягивалась, то шлепала по воде, летели с нее искристые капли, и проносились под ней молочно-белые чайки.

— О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзолев? — спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто. — Не о соколе ли? Раскаялся ли он в своем глупом поступке иль и впредь думает поступать так же?

Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И сказал он:

— Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же.

Поджав губы, замолчал мессер Филипп Андзолетто.

— О истинный боже, как чудны твои дела! — прошептал Мальпроста, глядя на волны, которые поднимал строгий и сухой ветер, и на стрельца в зеленом, что стоял на носу ладьи, возле кички, и на спящего воеводу Одудовского, и на согбенного мессера Филиппа Андзолетто, который распухшими красными глазами смотрел вперед и тосковал по молодой жене, и тосковал по Флоренции, и по реке Арно, где неподалеку от главного моста некий Каппиччо продает гостиницу... Мессер Филипп страстно хочет домой, а путь туда далекий и неверный, о, истинный боже!..

1946

---

## СИЗИФ, СЫН ЭОЛА

Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их, — оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой, южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим, — и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам, — он боялся его

щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!..

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастая, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то я буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтоб сохранить приобретенное Великим. Да иохранишь ли ты это, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей...

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, уби-



равшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и оттого, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топкие берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка, с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, накло-

нилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, черно-фиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли вьючные мулы, и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф, — сказал он. — Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время, — сдержанно сказал солдат, — сильные и спешащие путники сокра-

щали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат. — Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копьё и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью. — Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола, — ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь, — ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших о такой опасной теме.

Солдат Полиандр, намеренно громко сме-

ясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Нетрудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

\* \* \*

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидел пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано сероватыми камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге?— подумал он. — Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных потных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатога его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой несло дымом и оливками. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему нещадном? Откуда нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непо-

мерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней, несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что с нетерпеньем бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Боги позволяли ему вооружиться. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя словно днем на площади.

А здесь днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани,

оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими лицами и разгульными глазами. Возле дверей в корытах лежала валяльная глина, и два раба, мерно раскачиваясь, месили ее ногами, и глина верещала у них между пальцами.. Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, а Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Опять — предзнаменование? Он быстро обогнул ее.

\* \* \*

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх сизки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкой и гнилой воронки. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой роши и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал,



россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и впустило мягкие, влажные фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезающую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, выпускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухать, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидел россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже подходил с опаской, держась за меч и взывая к богам и

к Эолу в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидеть врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятясь, в эту долину веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

\* \* \*

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидел дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и, скорее всего, походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края ло-

щинки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр. — Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь. — И он прорычал: — Р-р-рад! За хижинкой колодец. Спустишь. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Те-

перь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось: великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидел две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахнуло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять

возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу неся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козьи шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?.. — спросил он хриплым басом. — Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно, и на сердце у Полиандра тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?.. — с усилием спросил хозяин. — Р-рад! В Коринф!

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал: что такое Коринф. И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указав на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить. — И он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат жадно ел мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад! — пророкотал тот. — Р-рад. Пей. Р-рад!

И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал за вином состязаться в споре, желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и — разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно, — ответил, широко улыбаясь, хозяин. — Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно, — ответил хозяин. — Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат. — Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня, — сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами. — Рад! Последний день.

— Слава Зевсу, — сказал привычным голосом солдат. — Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал раздельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино. — Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс, — настойчиво повторил хозяин. — Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем! — проговорил, заикаясь, солдат. — Ты Сизиф!

И так как хозяин утвердительно закивал

лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я, — ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты.

— Это я, Сизиф, — ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши. — Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было:

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Надругался. Зевс наказал меня. Мне вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И — сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов



ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои выводы.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем, — воскликнул солдат, — нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей, — сказал, смеясь, Сизиф. — Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу, — принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат. — И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды. — Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни: — Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин. — Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу, — сказал солдат. — Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.



— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат. — Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю, — ответил Сизиф. — Я катал камень. Кто такой Александр?

— О, боги! — воскликнул солдат Полиандр. — Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том, как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничёго не знаю, — ответил Сизиф. — Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем, — вскричал солдат, — я расскажу тебе все от начала до конца! Налей мне вина.

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

\* \* \*

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда, в хижину, лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колена, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие водянисто-синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и

натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотках на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними случилось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам! — воскликнул он. — Мы переправились через Геллеспонт и, принеся на развалинах, наверное, тебе известного Илиона жертву предку нашему Ахиллесу, направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.

И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал:

— В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеках желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от

любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф, — я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и баранах в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин. И рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагородно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа, — ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат. — И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобретать, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..

— Р-р-рад!.. — рычал хозяин. И рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козы шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его

водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полиандр, — военачальник, стоящий плечо о плечо с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — вскричал он. — Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полол, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать... — рычал, разевая твердый, прямой рот, Сизиф. — Р-р-рад...

— Ты царь Греции, а я твой соправитель... — И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе, по привычке, сунув под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыв овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

\* \* \*

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный, дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полосу света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидел, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх в гору, по своему ложу огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачакну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покати́л камень.

\* \* \*

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...



Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал ее невнятно, и солдат не слышал ее, а если б и слышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять в раскаленный отливочный металл. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный, визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда! Ну, а где ж тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой конечности кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера сглупу окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, эх... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянись собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола, ты обманул меня! И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..

*19 сент <ября> 1944 года, Переделкино*

---

## АГАСФЕР

Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразило мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм, — сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин, — лишенных всякой реальной связи, — что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький, несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями

жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Это, скорее всего, тема публицистики, чем художественного произведения, — если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно в наше время всевозможных удач стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна», — говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной, — может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна, — сказал я ей, — то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила

другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плоско!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Неудивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчиво. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испыты-

вал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидел явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно? — спросил я.

Утирая полый плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне действительно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился, благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кеновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень нехорошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит и не прописан нигде.

Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания.



В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно? — переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно настоятельно переговорить с вами.

— О чем переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обра-

щении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства.

После некоторой паузы он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич, — сказал посетитель, откидывая назад длинную голову. — Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатках и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек не смешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору, — сказал я, продолжая смеяться, — но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фавуста и Дон-Жуана, — а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае, —



вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех, — ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову. — Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опершись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор, — твер-

дил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец, разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой».

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрал ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не бы-

ла стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости, — и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господ... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Виттенберге, с радостью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тисненными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи, — и я нищ!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Проклятой любви!

— Кем проклятой?

— По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократичная. Нет бога, кроме бога любви.

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову?

— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.

— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.

— Агасфера все называют евреем.

— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю.

— Что же вас превратило в Агасфера?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели

окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную?

— Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал

на венце, свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее. «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием. — Твои родители бедны». — «Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту, испуганно прижимаясь ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже. — Он вздох-

нул: — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по-видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал: «Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего при-

хода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний... И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю?

— Догадываюсь.

— Приятно. Позвольте продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядя на пилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумеет только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!..

По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбическилистные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей,



звук органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся — и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы.

— Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, по теперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под венцом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага значит, по-турецки, начальник, ну а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатишь меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга!..» Ха-ха!

— И тогда?

— Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, од-

нако я не могу удержать слез при той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви!

Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его!

Сверх того я чувствовал и усталость: напряжение, с которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать.

Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрицательно длинной своей головой, и мы расстались. Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стараясь освободиться от нелепых предположений, меня одуряющих, я вернулся в свою комнату и лег.

Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он показался мне пресным, малоэнергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму, — хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсылают мне Агасфера и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?

Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а последующие дни были еще более мерзки и противны. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посоветовавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже... «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка, смерим?» Я встал к линейке. Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал:

— И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь.

— Друзья ждут, — отозвался я, хотя никаких особенно друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда.

— Подождут.

— А галлюцинации у меня могут быть? — спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду.

Он снова выслушал меня, расспросил и сказал:

— Галлюцинации? — Помолчав, он добавил: — Могут. Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три, исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите.

И он угостил меня папироской.

Папироса успокоила. «Бред? И отлично! — думал я, весь дрожа от радости. — Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого

Агасфера... и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!»

Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое, истощенное лицо с большими глазами, и она спросила без особого удивления:

— Каяться пришли?

— Каяться, — ответил я. — Простите за Геенову.

— Как? — спросила она со смехом.

— Я переделал вашу фамилию.

— Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова?! Это даже выразительно. Я себя, Илья Ильич, действительно чувствую гиеной, у которой перебили ноги. Они где живут, в болотах?

— Гиены-то? В камнях и песках.

— Ну, там подышать легче. В болоте куда труднее. Да, хорошо! — добавила она, вздохнув и подавая посетителю телеграфный бланк.

Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила:

— А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте руками и не ахайте: надо торопиться сказать, а то посетители придут. Не за деньги, конечно, — за пропитание и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно

быть, пирожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписались...

— Какая же это продажа, если расписались?

— То есть формально все правильно, а по сути — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него сверхурочные полюбила.

— Оделись, по крайней мере? — спросил я не зная зачем.

Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Боялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, может быть, так полюблю, как никого и никогда не любил. И она меня поняла — жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продалась, да мучиться? Вот еще!»

И она сказала:

— Оделась неплохо.

— А ну, покажитесь, выйдите!

— Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна?

— Уж и манто!

— Уверяю.

— И мама с вами переехала? Племянница маленькая... как они?

— Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с мужем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не свершал, — воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо... вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые.

— Агасфер не лыс, — вдруг сказал я.

Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей эти расска-

зы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя:

— А кто это?

— Да один из бессмертных, помните?

— Нет, — ответила она и с каким-то непонятым раздражением спросила у посетителя: — А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить.

И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня мучает бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Лечение мне нужно, лечение... но чем?

Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были ключими. Несколько нежных и слабо вьющихся мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое...

Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру... а, подлец!

И почти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне. — Ах, черт! Или за душой пришел?!»

Мой посетитель, — клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный, — кивнул мне головой, быстро прошмыгнул в мою

комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кипу «Русского архива» и, не объясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевым:

— Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер?

— Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены? — сказал я раздраженно, в то же время испытывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя. — Бúдите вдобавок. — И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни.

— А вы и далее продолжайте думать, что спите, — хихикнул мой посетитель. — Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный.

Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатному экземпляру «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер» и принадлежащего перу Пауля фон Эйтцена, имя Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения.

— Да, приблизительно так, — сказал посетитель. — Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдалбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориеусом. В Италии — Баттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает

«толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое — Агасфер!

— Почему вы так настаивали?

— Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня! По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Бреман, пьяница, распутник и не без пытливости, — в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию — и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак, — был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга, под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору, — разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства, а не словесные объяснения. Сколько, по-вашему,



она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю, цена не малая». И я продал ее.

— Продали? Опоив и затащив в притон?

— Она пришла туда сама.

— Почему?

— Чтоб доказать свою любовь! Разумеется, тут подшутила немножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясся от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов... Когда Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Бремана и пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Бремана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пылал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Трои.

Я говорил: при выходе из церкви я оставил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?» Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне,

что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибывали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел... Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти...

Так началась слава Агасфера — и моя тоже.

— А Клавдия фон Кеен?

— Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы нелогично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее... тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей, — словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вождедея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе?

— Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие?

— Да! Это было начало мести, проклявшей меня. Я тогда еще ни о чем не догадывался.

Меня начали всюду приглашать.

Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, с амвона, и в частных домах, и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию.

Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во время суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным.

Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа в руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб.

Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обрубком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы при-

надлежала Карталеусу: «Я могу медлить, — сказал будто бы Иисус, — но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти.

Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из руки. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реальностью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более — вернуться в Иерусалим, он отправился странствовать и странствует по сей день.

— Он — бессмертен?

— Да, я утверждал, что он — бессмертен.

— А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника? С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется.

— Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике.

— Несмотря на то что реального Агасфера не существовало?

— Именно поэтому! Миф. Легенда. Глу-  
пость. И все бы шло отлично, кабы не лю-  
бовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и  
моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта  
любовь, породила Агасфера и превратила его  
в реальность, то есть в меня самого.

— Однако!

— Долгое время я сам думал, что Ага-  
сфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я под-  
смеивался над людским легкомыслием и с  
удовольствием смотрел на шафранно-желтые  
монеты, которые получал как плод этого лег-  
комыслия. Однажды, после длительной и мно-  
голетней поездки по Испании, я вернулся в  
Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и  
яйцо», так как думал, что после многих лет  
отсутствия мои комнаты в нашем доме мог-  
ли быть заняты другим. Я хотел дать время,  
чтобы освободили их.

Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел  
к нашему дому. Он показался мне более воз-  
вышающимся над другими домами, чем ког-  
да-либо, и носил он другой, несколько голу-  
боватый цвет, тогда как прежде камень на-  
шего дома был сильного бурого цвета. Я спро-  
сил у привратника, дома ли и как благоден-  
ствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то  
есть мой брат.

Привратник ответил мне, что Отто фон  
Эйтцен умер восемь-десять лет назад, и что  
все фон Эйтцены перемерли, и что дом пере-  
шел по наследству к их дальним родственни-  
кам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа  
всем телом: «Как так перемерли, когда перед  
тобой сам высокочтимый доктор Священного  
писания и слуга господя, сам Пауль фон Эйт-  
цен!» Привратник перекрестился и сказал,

что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо Паулю фон Эйтцену, да успокоит господь его душу, ныне было б сто сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет.

Я устремился в гостиницу. Я подбежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива... но сто сорок лет, но сто сорок лет!

Шатаясь, я вышел на улицу.

Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо закривленными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серновидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня.

Несколько детей, должно быть уважая в нем вожака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрыгивающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплясало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!»

Я почувствовал страх, тоску скитаний, ко-

торая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неудержимой силой. Я бросился бежать.

Я бежал по Гамбургу, и вслед мне несло: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господ!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплавленная смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся, — как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались закаменелыми, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел!

Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед которыми страх смерти как лист перед величиной целого дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались книги, легенда о котором с необычайной быстротой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, а на самом деле я сластолюбивый старик, начитавшийся глупых книг, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого!

Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскал больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохода неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь... Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость.

Как в прошлый раз, посетитель прервал

рассказ внезапно, словно его вспугнули. Он выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменял по ступенькам.

Я еле доплелся до выходных дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Обозналась, значит?»

Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разобрался во всем смысле этих слов лифтерши.

Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрезилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает *ваши очертания*, когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность хотя бы для того, чтобы бороться с ним.

Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило.

Но коль скоро мне грозила гибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою гибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической силой здесь немногого достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей, на его стороне — несомненная жестокая ловкость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самоизысканий!



Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!

Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провёл в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на всю свою ловкость, — важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает.

Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверош», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс!

О, человечество много знает и много думает! Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии, — глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А те-

перь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистаспа, правил Персией в 486—465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме, разбираал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его резали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема... Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкой укоризной звучит это слово — Агасфер!

Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, по-

чему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не болеет ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст? С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?!

Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным!

Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он поспешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое — посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным в 1547 году. Правда, три года разницы... а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга — пути на восток?

Почему именно на восток?

Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и особенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасфера.

Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что это за гостиница и что это за странное название? Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых малоправдоподобных. Нужно помнить, что нем-

цы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы.

Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасферу для чего-то другого. Для чего же?

В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кассиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдброгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоволением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни — золотое яйцо, золотое солнце».

Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо... Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую, непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «меча и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерть фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не

рождались у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока.

Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей смерти! Если он способен обнаружить смерть бес- смертного — Пауль фон Эйтцен умрет в ужа- сающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальнороч, он погибнет, снаб- див Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в но- вое путешествие, в новые сто лет!

Вот к каким необычным выводам при- шел я, размышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, дру- гих выводов быть не могло. Повторяю, я ре- альный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я *умень- шился* в росте, голова моя начала суживаться и *удлиняться*, голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал *мой вид!*

Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброкрылого жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним; Парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофейных пушек.

Я шел через мост, возвращаясь из магазина, к которому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный.

Где-то *надо мной* раздался знакомый голос:

— Не помочь ли вам, Илья Ильич?

Вровень со мной, — нисколько *не ниже* меня, — шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала, и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с чрезвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая:

— Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, наицелебнейший. А я на вас смотрю и думаю, — кажется, он? Изменился! Во мне — смятенье! Испуг! Обморок. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!..

С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу. Он мог плести сколько ему угодно, вставлять любые и необходимые для него *слова*, а я — только разводи руками. Мой ослабевший голос не покрывал бы текучего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть...

Нет! Именно поэтому-то и не быть!

Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!» — бормотал я, выскакивая через одну остановку.

Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?» — причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену.

Я бросился на диван. стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавы. Да, да, она ждала меня в моей комнате!

Я предложил Клаве чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брусники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водится чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают, — есть и такие, — и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно, — какой я сыщик! — но я не отказываюсь от еды и говорю многозначительно. Ах, какая гнусная жизнь!

— А вы очень изменились, Илья Ильич,

— Ослабел.

— На улице, возможно, я бы вас и не узнала.

— К лучшему.

— Зачем меня обижать, Илья Ильич!  
Я вышла замуж по любви.

— Пару дней назад вы говорили другое.

— Врала.

— И насчет лысины?

— Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро родных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его.

— За доброту?

— Это великое качество!

— Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли?

Она промолчала. Я переспросил:

— Другое? Более плотское, а?

Она сказала:

— Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней...

— Недель, пожалуй.

Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбнувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной.

«В конце концов почему мне их не есть?..» — подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои



мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила:

— Я буду приносить вам каждый день. Это тоже доказательство, что не совсем продалась.

Я вдруг обеспокоился. Связки «Русского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в прод-магазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал:

— А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава?

— Откуда ему быть?

— Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь. Соседи, правда, тихие.

— Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий.

Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И, однако, он нравился мне.

— Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет, — сказал я. — Он страстно желал, чтобы она догнала его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, и все же он жаждал его.

Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплестать косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять-пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель.

— Кабы полгода назад... — начала она, взбивая подушку. — Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич.

— А?

— Бросили бы вы думать об этом Агасфере.

— Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему?

— Не люблю я евреев.

— Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.

— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.

— А русских?

Она вдруг обняла меня и поцеловала.

По-видимому, со мной случались обмороки, которые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен.

С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его:

— Клавдия фон Кеен гнала вас к смерти, обещая у порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалеет вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы должны встретиться с Клавдией фон Кеен... то место, которое вы скрывали сотни лет.

Шероховатое и округлившееся — мое! — лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил:

— Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-

видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ говорит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили: «Пыль есть пыль, и это даже не пыль от Агасфера», — и смеялись бы, ха-ха-ха... Пришло время!

Он сел опять на экземпляры «Русского архива» — откуда они? — и, вытянув ко мне *мясистую* — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вокруг меня и — задушить, высушить:

— А не забросить ли нам всю эту болтовню, как зазубренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?...

— Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!.. — смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я. — Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?..

Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной, за *моими* словами, за *моими* мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал:

— Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристоф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испании, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии...

— Верно. Ха-ха-ха... — откинувшись на

спинку дивана, сказал я. — Он пришел из Московии? А что говорит — анно, тысяча шестьсот сорок три, а?..

И тогда Агасфер послушно сказал:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!..

Я сказал совсем строго:

— Ну?

И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Кристмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать...

— Где побывать? — грозно привстав, спросил я.

— В Московии, — ответил он шепотом.

— Появлялся ли он в Московии?

— Хроники говорят: там его многие видели.

— Агасфера?

— Да.

Я воскликнул с торжеством и тревогой:

— И для приобретения жизни вы должны вызвать к себе *жалость* того, кто даст вам *жизнь* и возьмет вашу *смерть*?

Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом:

— Вы меня, Илья Ильич, ведь жалеете...

Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «не-

счастливым», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко.

Я сказал:

— Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен.

Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привыкал сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи:

— Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич!

«Считает меня совсем за дурачка», — подумал я с раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня.

Играя им, я сказал небрежно:

— Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека.

— Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось.

— Ну, какое там столетие? Вам едва ли дашь шестьдесят лет.

— Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нащупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал:

— Какие опасения!

Он весь так и расплылся в улыбке, скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться.

Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил:

— Ваша смерть — на востоке? Вы при-

близилась к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней?

Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, трясая головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я скавал:

— Она ужасна, *ваша смерть*, фон Эйтцен?  
Я услышал шепот из щели:

— Да!

— Она — непереносима, эта *ваша смерть*, фон Эйтцен?

— Да!

Я продолжал наносить удары:

— Где же она находится, *ваша смерть*, фон Эйтцен? Скажите мне адрес вашей смерти. Огорчил? Печалюсь, ха-ха-ха! Кручина большая, но говорите мне адрес вашей смерти!

Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или — броситься на меня. Но, вставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль.

— Она... она здесь... — еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он. — Она, видите ли, здесь, Илья Ильич, здесь...

— Не молвя — крепись, а уж молвя — держись, — едко сказал я ему. — Так что же это значит: «здесь»? Здесь, в Москве?

— Возле...

— Да вы что, издеваетесь надо мной?! — крикнул я. — Говорите мне точный адрес!

Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество», — твердил я.

Он, пожившись, ответил:

— Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево... в корнях.

И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся:

— Какой вид у вашей смерти?

Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом.

— Лежит... лежит, видите ли... лежит, Илья Ильич!

— В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутылке? В суме? В кошеле?..

Он кивнул.

Он еще раз кивнул, но совсем слабо.

О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того как я заметил, что он *разного* со мной роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его *круглой* голове.

После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вско-чить.

Я припомнил свою привычку: когда я говорю с кем-либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот, *то же* самое делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетиный, мороз подрал меня по коже. И в то же время неизвестно почему я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змееуползающие дела!

*Его* день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя... Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги!

Превозмогая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом.

Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера по-прежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевы, блестяще-шелковы.



— Вы давно ждете? — услышал я слабый голосок Клавы.

— Жду фон Эйтцена, — без всякого удивления ответил я.

— Кто он?

— Агасфер. Но ему недолго им быть.

— А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам?

«Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то... — может быть, родственникам Клавы или Агасферу?.. — мою комнату и переехать в Толстопальцево?» — подумал я смутно и сказал:

— Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство своей любви ко мне.

— Согласна и на большее.

— А на что именно? — спросил я с трепетом.

— На все, что ты велишь.

— Нет, не на все! — закричал я громко. — Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем.

— Именно всему. Это и есть любовь.

— Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему.

— Я верю всему, что ты говоришь.

— Даже существованию Агасфера?

— Даже!

— Ха-ха!

— Чему ты смеешься?

— Как быстро ты дисциплинировалась.

— Тебе не нравится?

— Нет. Мне бы хотелось видеть тебя не дисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешествен-

ник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал: «Но неужели вам, вождь, не противно было есть людей?» Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно — они такие недисциплинированные!» Смешно, верно?

— Смешно.

— И будет смешно, если я тебя захочу съесть?

— В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тело своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод, — ответила Клава спокойно, — и там всякое случается. Мы будем ждать?

— Агасфера? Да, мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если же он нашел лазейку... впрочем, я не уверен!

Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять.

Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять.

— Спал хорошо, милый?

— Великолепно.

Где уж там великолепно!

Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везу-

щих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь — совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупицу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня!

— Что-то говорит мне, дорогой, — он не придет.

— Нет, придет!

Она права. Он не придет! Он взял от меня все, что ему надо взять. А я... я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь... Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граждане, вы не видели некоего Агасфера, похожего... похожего на меня, а, ха-ха-ха!..

Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной, и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка.

— Клава, ты меня любишь?

— Безумно!

Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов.

— И готова доказать?

— Я уже доказала: бросила мужа и...

— Подожди, подожди!..

Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не отрывая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил меня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?..

— Подожди, я потребую от тебя большую жертву... огромную! Быть может, бóльшую, чем отдать мне на съедение свое тело.

— Я готова, милый.

— Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу.

— Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой.

— Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна.

— Я подчиняюсь тебе, дорогой.

— Нет, ты скажи, что согласна!

— Согласна, — ответила она твердо.

— Агасфер, вы?!

Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него.

— Похожи? — спросил я быстро.

Она нехотя ответила:

— Есть некоторое сходство.

«Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!»

Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, уз-

кий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками *моего* интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать, — однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?

Лишь бы не сплоскать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич!

Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он *должен* отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему *должен*? А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух богов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо, символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя и зло осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злобного испуга, *должен* отвечать мне.

— Адрес вашей смерти, — спросил я, — Толстопальцево?

Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня

и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево!

— Толстопальцево?

Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агасфера, я повторил свой вопрос. Мне было нелегко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус:

— Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где...

И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой словно мелкими и серыми чешуйками <руки>, я раскрыл емкую мою руку.

— А вы куда? — по-прежнему пристально глядя в лицо Клавы, спросил он.

— В Толстопальцево.

— А вы? — крикнул я ему.

— В Толстопальцево, — ответил он.

— Так поехали же!

Он послушно выпрямился и, огромный, сероволосый, поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал:

— Указывайте путь!

Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.

Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густосплоченный свет. Почти без толчков, словно курьерский, несло вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплескаешь!» И неизвестно было: кто над кем подсмеивался.

Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная суровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «Кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбежке или — потерявший семью? Узнаю я правду, или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумасшедший, контуженный?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь.

Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически

открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заспал ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?!

Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать.

Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала:

— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня. — Верно говорю, инвалидушка?!

Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:

— Вы не отказались от вашего решения?



Она ответила с тоской:

— Нет.

И, помолчав, добавила:

— Если вы настаиваете.

Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Кеен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:

— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.

Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:

— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет...

И она опять умолкла.

Шагая по остаткам «козких ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники — спрыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»

Начальник станции, хромой, в большой алой фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупно-ребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.

Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это *мои* волосики,

мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:

— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?

Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.

Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где она собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!

Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.

Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу...

Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию.

Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепель-

но-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре.

Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойдя дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.

Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана.

Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?!

— Дорогой, долго еще идти? — слышался позади тихий и ласковый голос Клавы.

Не оборачиваясь, я ответил:

— Скоро.

— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.

Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно

закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.

Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядающими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.

Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.

— Здесь!

И он взглянул на Клаву.

— Узнаете? — спросил он.

— Я никогда здесь не была.

— Обманул? — крикнул я.

— Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!

И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:

— Узнаете теперь?

— Да ничего я не узнаю.

— Уйдете со мной?

«Ой-ой-а-а-с-с-ф!..» — подхватил ветер.

Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схеме горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.

Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вздох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою.

Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.

— Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы.

— Не убежать, шалишь!

Дуб лежал, вытянув сверху толстые, цвета густой умбры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидал продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.

— Клад!

Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, доволь-

ная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:

— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно...

Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:

— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу...

— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он вопить, присев на кочку. — Умоляю вас, не трогайте!

Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль его шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.

Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиной не менее как в три пальца, и сук упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.

И я крикнул своим спутникам:

— Идите ближе!.. Сейчас во всем разбе-

ремся. — И я начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету: — Сначала думал: старинная штука, а затем — откуда старине знать нержавеющей сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..

Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.

Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:

— Умоляю-ю...

— Да идите вы к черту, — сердито сказал я, — что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.

И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.

Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно *ниже* меня, а *удлиненная* его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его *длинная* голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.

Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из

брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.

— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник, — сказал я, смеясь, — и если б вот не это дело...

— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке, — сказала, тоже смеясь, Клава.

Тут я услышал голос фон Эйтцена.

Он сердито кричал:

— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?

— Слушай, дорогой, — сказала мне Клава, — его, кажись, засасывает: надо ему помочь!

— А и помоги, — сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивала. — Протяни ему жердь, их здесь много.

— Он требует руку, милый!

— Ну, дай ему руку, раз он требует.

Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубинного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.

Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.

Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидел я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня





окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бровные ресницы!

Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.

И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так...» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.

Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробивавшемся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие...

Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода...

Я раскрыл глаза.

Возле кочки, вокруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде, — прошел и скрылся навсегда.

— Клава, Клава! — крикнул я.

Лес безмолвствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.

Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков.

Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня редела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынутием жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединявшего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью.

«Нет, что ему делать в Москве? — думал я с усмешкой. — И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо».

Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел в последний раз? Ах, да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал

грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой mine. Помню: размахивая почти пустой корзинкой, я возразил старику: «Да немцев и не бывало в Толстопальцеве!» — на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила.

Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею.

Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава, вместе со своими родственниками и мужем, давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется.

— Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания.

— До свидания.

Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтобы очень ее оскорбить, но сплюнул. Затем я вынул платок, чтоб вытереть губы, — и вдруг, поскользнувшись, обронил его.

Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми булыжниками, протянута проволока. В Москве «пошаливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему:

— Осторожней: проволока.

И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячившие фигуры. Я решил прочесть мерзавцев.

Фигуры бросились во двор, что-то хрипло говоря друг другу. Пространство двора упиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал:

— Не блуди, гадюка, не блуди!

Один из них кричал:

— Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой!

В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плывем, — бурна, как и подобает разливу. Горестно зарыдает тот, кто попытается броситься на меня. Я — крепок, великолепно натренирован, широк в кости, и рост мой, пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.

*7 сентября 1944 г. —*

*5 ноября 1956 г.*

---

## МЕДНАЯ ЛАМПА

Я был влюблен. Хотя это было очень давно, еще до войны 1914 года, но я отчетливо помню это чувство, мучительно терзавшее меня. Она меня не любила! Мне нужно добиться ее любви. Как? Я не знал еще, что и до меня миллионы и миллиарды влюбленных задавали себе этот вопрос. Впрочем, если бы и знал, все равно я бы продолжал спрашивать себя. В человеке заложено так много надежд!

Я работал тогда единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, что лежит на Иртыше. Тогда это был крошечный уездный городок. Теперь здесь строится комбайновый завод, величайший в мире, и к концу пятилетки в Павлодаре будет, говорят, до полумиллиона жителей. Впрочем, наверное, и среди этого полумиллиона по-прежнему многие молодые люди задают себе тот самый вопрос о неразделенной любви, который я задавал в крошечном уездном Павлодаре, — и задают с той же, если не с большей, мукой.

Я получил жалованье. Вторично в своей жизни! За целый месяц! И снова я понял, какое это важное событие. Должно заметить, что первую получку я распределил настолько глупо, что стеснялся теперь и думать об этом. Ах, пора знать, что денежки трудовые, что я, черт возьми, не так уже молод!.. Было мне тогда восемнадцать лет.

Выдав тетке, у которой столовался, кое-что на пищу, я робко задумался над остальными деньгами. Надо взъерошить, ознаменовать эти полные величия дни, этот жадный

шаг в жизни! А как?.. Выпивкой, приглашением соседей и родственников? Кто придет ко мне? Кому я любопытен? Жалкохонек покажусь я им со своими девятью рублями семьюдесятью пятью копейками. Тогда пожертвовать эти деньги с высокой целью? А куда? Где она, эта высокая цель? Во всем городе мне был знаком едва ли десяток людей, которые разве чуть-чуть жаждали этой высокой цели.

Позвольте, ведь я влюблен! Правда, ей на мою любовь плевать, но если я предстану перед ней в каком-нибудь великолепном платье, с какой-нибудь небывалой вещью... Мало ли как поворачиваются сердца! Да, приобрести что-нибудь ценное. И поскорее.

Часы, например. Они будут чутко тикать возле сердца, отмеряя то пленительные, то мрачные, то бесплодно-слепые минуты моей жизни, и отмеряют так много, что уже и сидна ляжет ко мне на виски, и когда-нибудь, где-нибудь в Гималаях, Кордильерах или на Соломоновых островах, я взгляну на их истертые крышки, на этот наивный циферблат и с трудом вспомню день их приобретения — и мою первую разделенную любовь!

Я решил осмотреть ценности нашего павлодарского базара. На базар попадают, миновав постоянно ремонтируемое здание городского училища, того, что самого юдольного серого цвета, самой раскатисто-дикой преисподней, того, перед вымазанными известкой окнами которого стоит кривоногий инспектор в чесучовой паре и почему-то с серебряной чайной ложечкой в руке, стоит, вперив очи в раскаленную зноем железную крышу, где ходят, высоко поднимая лапки, одутловатые голуби.

Я снимаю перед ним фуражку. Именно в его дочь я влюблен безнадежно. «В нее многие влюблены, — читаю я на его лице, — но выйдет она, за кого я пожелаю. Отнюдь только не за тебя, сопляк!» Однако он вежливо отвечает на мой поклон, — меня познакомил с ним мой дядя-подрядчик, лицо почтенное. Он даже спрашивает:

— На базар, за покупками?

— Да, получил жалованье.

Павлодарские магазины и склады кажутся мне столь объемистыми, что им впору торговать с целым континентом. Прельстительно и то, что двери магазинов широко раскрыты, тогда как двери обывательских домов и ворота плотнейше заперты на засовы, замки, щеколды и охраняются множеством собак. А улицы гладки и чисты, как парус; засыпаны песком до пояса, и деревьев в городе нет, словно листва их не выносит этой песчаной тяжести.

Итак, я — на базаре. Оглядевшись, соображаю, что пока, кроме меня, покупателей нет. Сердце колотится; губы вялы, будто из пастилы. Неужели для меня одного развернут все эти товары, полезут на все эти бесчисленные полки и мне все это надо перетрогать, обо всем поторговаться?

— Пожалуйте, господин, пожалуйста! — кричат приказчики.

Выходят, отложив шашки, на порог лавок и сами хозяева:

— Сделайте почин, милостивый государь.

Бакалея, галантерея, скобяные, сено, мука, колбасы — все к моим услугам! Могу купить аршин шелку или ляжку барана, балалайку или Библию, калоши или пульверизатор с резиновой грушей, с резервуаром из цветного



стекла и с роговой трубочкой, из которой за-  
пашистой струей цедится на ваши ноги едкая  
жидкость.

Я вовсе не хотел, чтоб торговцы, как по-  
лено, расщепили меня на части. «Бесстрастие,  
бесстрастие!» — шептал я, и, обратив, так  
сказать, это желание в наличные, я сделал са-  
мое бесстрастное лицо, какое только мог во-  
образить. Оно одновременно стало и рде-  
лым, — и тут меня приняли за зеваку. Руки  
торговцев, было остановившиеся, снова дви-  
нули шашки по клеткам. Приказчики верну-  
лись к дверям, к конику и опять устались  
в верхний угол лавки, где играли солнечные  
зайчики. Прекрасно! Не будучи покупателем,  
мне легче думать о покупке. Я — свободен и  
могу выбрать для своей любви все, что хочу!  
— Но — что?!

Тротуар перед магазинами из каменных  
плит. Город не избалован камнем — песок,  
да глина, да разве кирпич. Жара — летом,  
морозы и ветра — зимой зубасто и насмешли-  
во мельчат все крупное, даже сахар и тот  
предпочитают здесь покупать не колотый, кус-  
ками, а песком. Поэтому каменные плиты тро-  
туара для меня милы, как гребни Гималаев  
или Кордильер. Камни долго держат тепло,  
ступать по ним приятно — они нежат меня,  
благодаря им солнечный жар проникает на-  
сквозь.

Однако что же мне купить? Какой пред-  
мет прельстит ее?

Медленно иду я от магазина к магазину,  
от окна к окну, беспрепятственно сближаясь  
с теми товарами, которым почему-либо сужде-  
но быть моими. Осмотрев их сбоку, сверху,  
в упор, снизу, отхожу и немедленно забываю

о них. Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправа для браслета, наждак, шелковые ленты — зачем они мне, зачем мне этот извод денег? Вещи и выбор их начинают раздражать меня, будто я нес чернила, разбрызгал и закапал всего себя.

Часы, желанные часы из накладного золота ценою в 9 руб. 75 коп., и те не прельщают меня. Извертываюсь легко, чтобы уйти — и навсегда — от витрины часовщика. Лениво-колючий вид базара надоел. Хоть бы встретить знакомого, хоть бы появился Степа Носовец! Так зовут городского потешника, пьянчугу и проказника, служащего городской пожарной команды. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, я иногда калякаю с ним.

О любви Степа говорит необыкновенно цинично. Разумеется, я не отношу его выходки к моей любви, но все же сознание, что любовь можно свести к чему-то несложному, от чего легко отмахнуться, в какой-то степени облегчает меня.

Мгновения текут так медленно, что кажется, они далеко издали машут, дают сигналы флажками. Я гляжу теперь не в магазины, не в окна, а промеж магазинов, где валяются кирпичи, окурки, грязная оберточная бумага и где пахнет завалью и навозом.

Возле чайного магазина спит, прислонившись отекающей головой к стене, босяк. Возле ног его — медно-красный сосуд, похожий на крестьянский двухносыый умывальник, который всегда раскачивается, роняя в лохань крупные звонкие капли холодной воды. Но, приглядевшись, я нахожу в нем сходство с теми светильнями, которые переселенцы из Укра-

ины называют «каганцами». Светильня грязна, запылена, и ласкающий блеск старой меди с трудом пробивается сквозь грязь. Светильня валяется у самых колен босяка, это единственное имущество его. Скоро хлынут на базар мальчишки, утащат или спрячут светильню...

Босяк чем-то похож на Степу Носовца, разве что ростом пониже. Шевелю его за плечо:

— Эй, эй, проснись, спрячь лампу!

Босяк сопит, дергает плечом, носом, и от гримас толстое лицо его делится, как пароход, на две части: надводную и подводную. Подводная — рот, подбородок, лошадиномускулистая шея — покрыта слюной, а нос, лоб и волосы — сухим песком. Он открывает глаза, круглые и яростно-впалые, недобрые, но очень серьезные глаза.

— Спрячь лампу-то, — повторяю я, — упрут.

— А ты купи, раз беспокоишься, — привстав, говорит босяк. — Уступлю задешево, поди-вот.

— Куда мне ее? У меня есть лампа. Десятилинейная, с пузырем, с абажуром. А эта — коптилка, нос набор от вонии своротит.

— Своротит! Коптилка! — пренебрежительно восклицает босяк. — Сам ты, поди-вот, коптилка, раз не видишь! На эту лампу свежо надо смотреть. Дурак на ней закоптится да обожжется, а умный — наживется. Лампа особая.

— Чем же она особая?

— Ты про Аладьину лампу слышал?

— Не Аладьина лампа, а лампа Аладдина, счастливец такой был. Нашел лампу, от-

крыл, а из нее Дух: что прикажешь, то и выполнит.

— Вот-вот!

И босяк, тыча светильник мне под нос, кричит:

— Его лампа!

— Так то — сказка!

— Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда. Его лампа, тебе говорю!

Босяк прячет лампу под полу рваного пиджака. Он уйдет, а я так и не узнаю, откуда ему известна сказка об Аладдине и его волшебной лампе и почему он решил, что именно со мной удастся такое глупое надувательство.

— Не там жмешь, простота, — смеясь, говорю я.

— А я и не жму, поди-вот. Ты сам на себя жмешь. Я тебя разбудил или ты меня?! Ты! Ты и хочешь купить!

— Привязался с этой покупкой! Зачем лампе у меня стоять?

— Стоять?! — с повышающим пренебрежением в голосе спрашивает босяк. — Стоять у тебя она и не может. Стоять ей только у меня.

— Так зачем же тогда продаешь?

Он, отхаркнув слюну, вплотную подходит ко мне и холодно говорит:

— Я, поди-вот, и не продаю ее насовсем-то. Продаю на время. Насовсем зачем мне ее продавать? Никакой выгоды. Отпущу ее на часок, на полчаса — и обратно. Пока там человек ее трет, вызывает Духа, я на те денжки чекалдыкну сороковку. Я всем желаю счастья.

— Почему же для себя не вызвал счастья?

— Как не вызвал?! — восклицает босяк. — Я вызвал и пожелал.

— Чего же пожелал?

— А пожелал я, чтоб лампа Аладьина всегда при мне находилась. За какую б цену я ее ни продал, кто б ее ни украл — она вернется!

— Замечательно.

— Чего ж лучше?

Я смеюсь. Босяк смотрит на меня холодными, хищно-круглыми глазами, и мне не по себе. Я хмурюсь и думаю: «Тоже, находка! Фокусничает нахал какой-то». И одновременно верится, что он говорит правду.

— Откуда она у тебя?

— Сказка. Начнешь узнавать, откуда сказка пришла, сказки и не будет. Все дело, поди-вот, в простоте. Надо хлопать глазами и верить. А нашел я ее в городе Мукдене в русско-японскую войну, унтером был, георгиевский кавалер. Смотрю — китаец. У забора. Сдох. И лампа возле. Ну, я ее и потер папашой, думаю — продам. Он, Дух-то, и является. Большой, волосатый, вроде попа: «Проси чего хочешь, солдат». Я ему: «Дай, для начала мысли, полсороковки и в закуску сотню пельменей». Очень я пельмени любил.

— И многим ты ее потом давал?

— А, брали. Мне — верят. У меня рот хоть и хлюпает, слабый, а глаза, поди-вот, находчивые. Но мне верят! И, опять, я много не беру. А если счастье задешево, его хватают.

— Хвалю.

— Чего хвалить! Ты скажи: берешь лампу?

— Сколько в час?

Похлопывая себя руками по ляжкам, он рассудительно осмотрел меня и сказал:

— Беру, как извозчик: полтинник за первый час. За второй час — рубль, а за четыре часа — девять рублей семьдесят пять копеек, а?

Я вздрогнул, словно промок в ледяной воде. «Откуда он знает, что у меня есть ровно девять рублей семьдесят пять копеек?» — возбужденно думал я, глядя на лицо босняка, которое делалось все более и более непроницаемым. Я нерешительно пробормотал:

— А зачем мне лампу на четыре часа?

— А вдруг вздумаешь куда-нибудь прокатиться? У меня которые, случилось, и к умершим родным в рай или в ад катались.

— Ну и как?

— Оба места вроде Нерчинска, — сказал босьяк, густо отхаркиваясь. — На редкость ты, поди-вот, раздумчивый. Берешь али нет? Жалко тебе, что ли, твоих девяти рублей, не зарабатываешь больше? Разум-то у тебя есть? Тебе говорят: любое желанье Дух исполнит, в любое место укатит и вернет!

Тогда я, не без застенчивости, спросил:

— А любовное, скажем, желание? Допустим, она меня... не любит? Может тут Дух?

— Не может, — сказал грустно босьяк. — Что не может, то не может. Я его и так и этак улещал — ничего! Приглянулась мне годков пять тому назад жена одного попа. И она, поначалу, вроде мигала, а потом говорит: «Закон не позволяет. Нам, попам, развода никак добиться нельзя! А без развода я не согласна». Я Духу и говорю: «Разведи!» Он отвечает: «Не в состоянии. Если мы во все любовные шашни начнем вступать, от нас живой

нитки не останется». А я ведь тогда богатый был, купец, вроде Дерова. И ничего не помогло! Спился я, скурился, разочаровался я: мне все постыло. Только и жизни что лампа — утешаю людей, особенно дураков.

«Черт его знает, что он несет! — подумал я с негодованием. — Какая дикая чушь! Однако почему же эта чушь кажется мне такой убедительной? Значит, что-то в этом есть?»

И я спросил:

— Что же, долго тереть?

— Ты три, пока «он» не придет. Да ты не бойся, «он» не пугает. «Он» больше в виде козла является. Так, рыжий козел из себя, на ногах стоит прочно.

Босяк показал на углубление возле ручки:

— Ты три здесь! Грязь сотрешь, медь появится, сердце у тебя начнет действовать... «Он»! Встанет пристойно, поди-вот, и скажет: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство... — это я его так научил... — Какие, ваше превосходительство, распоряженья, какая выпивка-закуска?»

— Постой, постой! Зачем же тебе, просто-та, торговать лампой? Ты ведь у Духа всегда можешь потребовать лучшей водки-закуски?

— А какой мне, поди-вот, в том интерес? — сказал босяк. — Мне тоже поговорить с человеком хочется.

«Разумеется, вздор, чепуха, самый наглейший обман», — думал я и все же стал торговаться: в человеке так много надежд!

Сторговались на девять рублей. Семьдесят пять копеек босяк оставил мне на карманные расходы. Взяв мои деньги, он побежал в трактир, а я на четыре часа сделался владельцем волшебной лампы Аладдина.

Босяк скрылся с быстротою нерукотворной, и, как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной. Базар уже не казался мне таким сказочно-огромным, плиты грели уже не так горячо, и раскаяние облепило меня. Держа тяжелую лампу, я думал: «Боже мой, как глупо, как непростительно глупо! И глупее, чем в первую получку. Там хоть я купил идиотский плащ с застежками в виде львиных голов, кепку, трость, а — сейчас?! Непроходимая глупость: в двадцатом веке поверить, что существует лампа Аладдина!»

И одновременно с этими непригожими и неприглядными мыслями робко бились и другие. А что, если — прикоснуться и потерять ее? Что, если появится Дух и я скажу ему: «Немедленно доставить меня... скажем, скажем... в Петербург, в лучшую типографию, печатающую «Солнце России»! Сделать меня метранпажем этого журнала!» Дух немедленно преодолет огромное пространство, доставит меня в великую столицу, и заведующий типографией скажет мне: «Господин, приступайте к вашим обязанностям, верстайте «Солнце России».

Так-то оно так, а что, если Дух не явится? Я, как дурак, непрестанно три эту гадкую коптилку? Где-нибудь за углом спрятался босяк, или приказчики, или проказник Степа Носовец, подстроивший всю эту затею?! Нет, если уже верить и применить способ трения к этой лампе, так лучше в укромном месте. Там, в случае неудачи, швырну ее в сторону и пойду домой.

Вниз по течению Иртыша, верстах в двух-трех от города, имел я любимое укромное ме-



стечко. Песчаный оранжевый яр, с прослойками плотной серой глины, круто обрывался у самых вод. Выходы твердой, словно камень, глины спускались к воде неровными ступеньками. Иногда, при высоком настроении, сиживал я на верхних ступеньках, почти на уровне степных трав, а чаще всего внизу, у самой воды, мерной и необъятно-необъездной. Ноги медленно уходили в песок, и разные пугливо-мягкие чувства волновали меня.

Я направился к яру. Послышались шаги. Догонял босяк:

— Эка дрябла память! Поди-вот, и не сказал, в каком месте сподручней тереть?

— Сказал.

— Сказал, значит? Тогда счастливо оставаться.

И он повернул к городу.

Его слова воодушевили: «Лампа действительно волшебная! Иначе зачем же ему догонять меня?» Да и говорил он таким деловым и уверенным тоном, и круглые глаза его глядели так спокойно.

Налево от меня — степь, полоса пыльной белой дороги, опять степь и за нею — заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, густо-синий Иртыш нес свои струи, неразрывные и неразлучные. Я занял самый верхний выступ глины.

«Ну что ж, попробуем, — сказал я сам себе, глядя на лампу. — Прокатимся в будущее и прошлое; растворимся в пространстве; разборчиво, без развязности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой».

И я повернулся лицом к солнцу, к югу. Во-первых, пусть козел, в которого, по словам босяка, воплощается Дух, встанет ниже меня. Существо, стоящее ниже, не так пугает, с ним легче разговаривать. Во-вторых, при блеске солнца, отраженном водою, появление Духа не будет столь волшебным. Достаточно волшебным блеском светит солнце и играет вода. В-третьих, если опыт не выйдет, мне удобнее швырнуть лампу в Иртыш... Последний раз вспомнил я босяка, его слегка посеребренную временем голову, его походку, плечи, шею. Он слегка скептик, жизнь перекалила его, как орехи на огне, и оттого я посередобольничал, дав ему за лампу 9 рублей. Достаточно было б и полтинника. Но в конце концов что деньги! Важна вера в человека. Кому иначе верить? Базару, этому огромнейшему сакво-яжу с вещами?! Нет, коли я сам решительно захотел редкое, чего там нюнить и хныкать!

Я здесь — один. Степь, Иртыш, яр, выходы глины. Один, с волшебной лампой на коленях. Один посередине сказочно-волшебного и разнообразнейшего мира. Надо выбирать.

Ибо — верю. Сижу. Жду. Тру.

Собственно говоря, я еще не тер лампу. Я держал ее с наивозможной осторожностью, чтобы Силы, которые должны направить ко мне Духа, отнюдь не подумали, будто я тру. Времени у меня достаточно. Я не тороплюсь. Я желаю произвести самый аккуратный выбор, сказав точно и ясно явившемуся Духу, чего я хочу.

Разумеется, я не хочу никаких фокусов вроде скатерти-самобранки, бессмертия, шапки-невидимки или неразменного рубля. Мои

симпатии лежат в другой, более серьезной области. Я много читал, кое-что знаю и вовсе не желаю поощрять суеверие и нелепые выдумки. Можно, конечно, вызвать Духа и приказывать ему застроить всю степь от меня до Павлодара мраморными дворцами, золотыми фонтанами и садами самого причудливого свойства, ну, а кому какая польза, зачем это?

Если проревизовать мои мысли, то окажется, что они всегда исходили из чувственного познания внешнего мира с разумно действующими в нем законами причинной связи. Правда, в данном случае с лампой цепь этих законов будто обрывалась. Но здесь нет ничего сверхчувственного. Стоит только появиться Духу, как я допытаюсь у него: «Где находится оборвавшееся звено цепи, где здесь разумная связь? Иначе я не могу признать Духа и всего того, что он делает! Я должен доказать самому себе сущность внешних предметов, независимо от моих, возможно, даже самых фантастических, представлений». Должен признаться, что я тогда еще не знал имени моего мировоззрения, а его уже звали реализмом!

Без озорства, без озлобленности, разумно и просто надо найти подходящее и, конечно, почетное место в этом мире. Лампа способна доставить и поставить меня на это место, но в ее обязанности не входит указывать мне на это место, а тем более говорить — имею ли я такие способности, которые помогут мне удержать это место?

«Однако посмотрим!»

И с вышины своего яра я взглянул на Российскую империю.

Я обладаю возможностью выбрать в ней

любое место для труда, наук, жилья или наслаждений. Я могу выбрать любую профессию, любой чин, любое состояние, вплоть до состояния сумасшедшего, любую сумму денег, любой сокровища и здания, вплоть до Зимнего дворца, любых друзей, любые способы передвижения, любых коней, любые яства и зрелища. Словом, я могу выбрать себе счастье.

Мало того, я могу покинуть пределы Российской империи и, кажется, распространить свои желания за пределы Земли, скажем, на Марс или Юпитер. Если я пожелаю достаточно настойчиво, я сам могу превратиться в Марс или Юпитер, или в эту самую волшебную лампу Аладдина, с тем чтобы давать людям счастье.

Но, во-первых, — что такое счастье? В семнадцать лет так ли уж человек отчетливо знает — в чем счастье других? А во-вторых, эти другие сами-то знают весь размер и всю сумму их счастья? Если б знали так уж отчетливо, неужели они не услышали б о лампе Аладдина, находящейся в руках босяка, и не стерли б ее до размеров пятака, вызывая свои желания?

«Давай-ка, прежде чем думать о чужом счастье, в котором ты плохо разбираешься, подумай о своем. Да, Дух не может дать тебе ее любви, — добивайся сам! Прекрасно. Я приду к ней в новом, необычайном виде, — и тогда она полюбит меня. И затем оба, счастливые, мы дадим людям счастье, потому что, владея счастьем, легко его раздавать и другим. Но в каком виде она меня полюбит? За что?»

Кем же мне быть?

Кого она способна полюбить сразу же?»

Ну, конечно, того, кто стоит выше всех людей. Того, кто управляет страной. В данном случае — император. Ведь я могу быть императором. Духу это ничего не стоит сделать, он привык. Каждый, к кому попадает эта лампа, хочет быть, наверное, императором. Значит, императором? Если мне не нравится быть императором России, я могу быть императором Англии, Китая, Африки, Америки и прочее. Выбор довольно разнообразный.

Все несчастье в том, что из-за моей застенчивости я ни разу не разговаривал с девушкой, в которую был влюблен. Однако я достоверно знал, что она брала в общественной библиотеке лишь либеральные журналы и газеты, а она, кажется, не очень настаивала на том, чтоб в России был император? Да и, по совести говоря, какой я, к черту, император! Глупо.

Разумеется, читая либеральные газеты, она ищет в них либерального героя, человека-освободителя? Отлично! Долой императоров!

Конечно, не так-то легко сойти с меридиана, который уже почти принадлежит тебе. И с легкой грустью я спустился ниже на одну ступеньку из глины. Степь и легкий ветерок из нее мешали моему воображению, внутри было как-то мерзко. Я прислонился к яру. Город и степь исчезли. Я сидел как бы на троне. Лампа грелась у меня на коленях, словно котенок.

Я продолжал свой выбор.

Я не измельчу себя, если выберу обязанности и жизнь героя... скажем, вроде Геракла, достославного мужа древности! Недавно мне пришлось прочесть о нем. Это вполне уважаемая личность. Он посвятил всю свою жизнь

подвигам ради счастья людей. Он исходил по земле, всюду сражаясь и претерпевая крайние неудобства. И был в награду приравнен к богам. Не попробовать ли мне нечто в этом роде?.. Правда, судя по сказаниям, герою надо обладать большой физической силой. Она у меня есть, хотя и не в таком большом размере. А если развить? Мне нравится путешествовать. Я всегда завидовал Дон-Кихоту. Он обладал малыми средствами, а отправился почти во всемирное путешествие. Он не свершил его только из-за телесных немощей. Непонятно: почему над ним смеется весь мир? А ведь все дело в том, что пророки не зерно: они в своем отечестве, как известно, не прорастают. Выйди он за пределы тогдашней Испании, я уверен, он встретил бы драконов, и кентавров, и сирен. Если в наши скептические времена существует Дух Медной Лампы и я в него верю, то совершенно ясно, что в те времена водились Духи и позабавнее этого! Достаточно было старику ухлопать какую-нибудь сирену, как он бы прославился и все начали бы говорить о нем... Да, старик был слабее меня, зато он обладал другим преимуществом. Он мог направить все силы своей души к одной конечной цели, тогда как у меня стремления разбросанные, как поленья, когда колют чурку. Иду, например, по дороге. Нужно убрать корягу, мешающую движению телеги. Я ее сталкиваю в овраг. Вижу там еще корягу и спускаюсь, чтобы убрать подалее и эту! Телега тем временем уходит. Долгий путь мне придется проделать пешком! Я суетлив, пестр, бессистемен. Надо отказаться, пока не поздно, от лестной обязанности Геракла, благодетеля человечества! Это несомненно.

Вот какие горести, вот какую правду открывает любовь!

А может быть, ей плевать на одиночных героев и она предпочитает тех, кто ведет толпы, тех, кого обычно называют полководцами?

Итак, полководец?

В людском мнении, полководец идет вслед за Гераклом, героем. Полководец ведет солдат, изредка говоря им об обязанностях по отношению отечества, а главным образом используя комбинации желаний голода, жажды охотничьих желаний, честолюбия и удачнейшего возвращения домой. К сожалению, я мало знаю о полководцах. Возможно, мои знания близоруки, тем более что и солдат-то я видел не тех, которые воюют на поле брани. В нашем городе есть только конвойная команда, сопровождающая по тракту конокрадов и бродяжек. Трудно представить, чтобы эти мордатые, толстые, в чугунных сапогах парни испытывали эмоции голода, жажды или охотничьих наслаждений, а еще менее — эмоции честолюбия. Даже чувство удовольствия и то не так-то уже ярко начерчено на их беспечно-розовых лицах. Нет, где мне полководить над ними!

Сомнительно, чтоб ей нравились полководцы. Ни одного офицера, ни даже чиновника нет среди ее знакомых!

Итак, полководцев и чиновников можно сбросить.

Незаметно для себя я спустился еще на несколько ступенек и теперь находился посередине яра, на самом припеке. К берегу подплыло толстенное фиолетово-голубое бревно со слабо окрашенными в канаусный цвет краями и начало лениво биться в песок. Оно ото-

рвалось от проходившего мимо плота; начался, по-видимому, летний сплав леса. Скоро поспеют арбузы, их повезут на плотах, и плоты шеренгой вытянутся вдоль Павлодара. Я люблю нырять с плотов. Пахнет мокрой корой, арбузами, и есть опасность, что тебя утянет под плот... и неужели она скажет про тебя, что «так ему и надо»?

«Боже мой, что мне делать? Кого она способна полюбить? Может быть, побежать в город, спросить у нее?»

Нет! Догадаюсь же я! Догадаюсь так удачно, что она сама придет сюда, почувствовав, что здесь осуществилась ее мечта.

Продолжаем».

Купец?

Торговать?

Нет, нет, нет! Я два года служил в лавке помощником приказчика и знаю, что это такое — торговать. Подлость это, гнусность.

Тогда — банкиром?

Банкир? Это очень солидно. Дом с молчаливыми окнами и певучими дверьми. Блестящие, лакированные конторки клерков. Касса. Бухгалтеры. Телеграммы. Биржа. Колебание цен. Ты сидишь в глубине своей конторы и наблюдаешь. Тебе подчиняются заводы, фабрики, типографии. Ты устраняешь препятствия, мешающие твоей наживе, и не думаю, чтоб умершие от твоих ловких операций слабо проклинали тебя. Но ты холоден, безжалостен, ты набил кассу акциями и зорко выглядываешь новые препятствия...

Она — добра, отзывчива, и вряд ли ей захочется быть супругой злого, сухого и жадного банкира.

Не хочу быть банкиром!



И заводчиком не хочу быть. Равно и тем инженером, который кланяется этому заводчику. И не хочу быть типографщиком! Я видел, как мой хозяин-типографщик, охваченный страхом, что заказчик уйдет, брал заказы себе в убыток или искал их по городу или за городом, у мукомолов. Он столбенел перед ними подобострастно и униженно, сидел на краешке стула, а в это время к его жене приходил любовник, и вся улица гоготала, что типографщик собирает деньги для этой толстой бабы с накладными косами... Стыдно и думать, что я буду владеть типографией!

...Есть точка в небесном своде, противоположная зениту. Она называется надир. Поищем-ка мой надир. А что, если мне сделаться, скажем, архиереем! И мне сразу же представился собор, широко-белоснежный, наполненный людьми. Над головами колышется дымок ладана, этот запах надежды ковыльного цвета. Архиерей смотрит — и видит всех несчастными, и в глазах его и на лице скорбь. Эта скорбь в превосходной ризе, багряной и парчовой, что еще сильнее подчеркивает ее, так же как и серебряные и могуче-безбрежные голоса архиерейского хора.

Скорбь — хороша. Она отвечает моим намерениям. Я вижу вокруг много скорби, да и во мне ее немало. Несчастья других людей для меня точно собственные несчастья. Я уже испытал это много раз... много-то много, а вдруг да, — как это и случалось с кое-какими архиереями, — скорбь взмахнет крыльшками, уйдет, уныние ослабнет, а физические силы окрепнут и мне захочется плясать? Да, плясать, и пьянствовать, и радоваться, и думать, что мир не так уже плотно, как ме-

шок с мукой, набит скорбью. Тогда — что?

Нет! Не ходить мне в митре, налитой тревожным блеском драгоценных камней, не любоваться панагией, и не будут меня приветствовать серебряноголосые дисканты и могуче-безбрежные басы.

И, кроме того, она с такой яростной скукой идет в церковь!

Тогда — путешественником? Да! Путешественник — это воля знать и видеть, что не видали и не испытали другие. Это — пустыни, горы, моря, охоты, крушения, раскопки древних городов, голос вечности.

Но, с другой стороны, путешествия — не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А отсюда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое? То есть это — желание превратить неведомое в известное и знакомое. И затем, всю жизнь путешествовать, жить на голой земле, приобретать насморки, ревматизмы, катары, убивать красивых животных и уничтожать красивую неизвестность.

Она, насколько мне известно, ни разу не выезжала из Павлодара и не ходит гулять на пароход, когда тот, тяжело дыша, ложится возле пристани и выбрасывает мостки. Даже на пароход «Апостол Фома» и то не ходит, а что может быть прекраснее этого парохода?

Значит, и капитаном парохода тоже мне не быть?

Но что же, что?

Взволнованно я спускаюсь еще на ступеньку. Я сижу на самом солнцепеке, в пахуче-страстном дыхании зноя. Неподалеку от меня — подкабель. Вода течет по глине и капа-

ет вниз равномерно, как часы. Считаю: один, два, три, четыре... О, как быстро идет время! Надо выбирать скорее.

Цель? О, цель моя не затуманена никакими чувственными желаниями или вожделениями. Мне ненавистны люди, для которых другие — только лишь любовницы, повара, конюхи. Фальстаф, Дон-Жуан, Гаргантюа возмущают меня. Накаленные своими желаниями, они бегут по миру высунув язык, ничего не видя в нем духовного и высокого и не понимая, что холодная и мрачная материя смеется над ними.

Нет! Хочу подчинить холодную и мрачную материю себе. И в самом мятежном ее виде, при самом диком ее сопротивлении.

Моя подруга будет помогать мне.

Значит, наука?

Да!

Тру лампу?

Нет, нет! Еще не тру.

Я только многозначительно гляжу на нее, и она — на меня. Тускло и таинственно блестит древняя медь, и кажется, она шепчет: «Торопись, время крылато и капризно-вспыльчиво, торопись, золотой и вольный юноша!»

Сейчас, сейчас! Я почти выбрал.

Наука?!

Благо людей, обладающее для меня притягательной силой, сосредоточено для меня в науке. Когда унижается, лжет, клеветает или боится наука — меня охватывает печаль. Мне любы книги, аппараты, уют лабораторий. Мне нравится научное уединение, беседа с веками.

Итак — наука?

Какая ж наука? Их много. Физика, социо-

логия, химия, астрономия, биология, метеорология...

Видите ли, весьма трудно взвесить сразу все степени трудности. К тому же мой ум смущается перед отвлеченностями. Математика ломает меня, например, пополам... Это не так легко — выбрать научную специальность.

Кроме того, моя Возлюбленная, вернее сказать — та, кто может, при известных условиях, стать возлюбленной, плохо учится. Инспектор этим очень огорчен. Она больше думает о красоте своих бровей и изгибе носа, чем о красоте научных истин. И как странно, что это-то мне и нравится!

Жаль, но с наукой, кажется, я расстанусь...

...Незаметно я спустился к самой воде. Лампа отражается желто-зеленым пятном. Бревно откатывается, прикатывается, то открывает, то закрывает это отражение. Солнце подвинулось к закату. Зной спадает.

Я все еще не выбрал. А наверное, уже прошло часа два?

Надо пересмотреть все сначала.

Император? А, ерунда!

Герой?

Почему я отказался от героизма? Убоялся тюрьмы, клеветы, страха смерти и страданий. И не стыдно тебе?

Стыдно! Плохо мне. Я весь как дерево, издолбленное дятлом, живого места нет. Мне трудно и тяжело держать лампу; я словно пил из нее, напился, напичкан... нужно подумать со свободными руками, помахать ими.

И я ставлю лампу рядом с собой, на по-



следний глиняный выступ, за которым — полоска песка и вода. Иртыш.

Итак — огнеглазый и чистосердечный герой?

Герой побеждает все и всех, а значит, и ее сопротивление.

Я буду героем!

Позади, по яру, слышится шум. Кто-то плюхнулся ко мне.

Босяк! У него самоуверенные глаза, веселые телодвижения. Он хорошо выпил, погулял, отдохнул и пришел. Я схватываю лампу.

— Поздно, брат! Не, не, тереть нельзя: ничего теперь не выйдет.

— Да разве прошло уже четыре часа?

— Эка, поди-вот, хватил! И четыре прошло, и пять минут лишка.

Я оторопело гляжу. Он берет осторожно лампу и прячет ее под полу пиджака, а затем не спеша лезет по глиняным выступам вверх. Бормочет: «Жара тут какая, поди-вот». Кусочки глины с цветным отливом ломаются под опорками и падают.

— Постой, постой! — опять кричу я. — Ты, брат, не плутуй!

Босяк останавливается на верхней ступеньке яра и смотрит на меня вниз. Мне кажется, я читаю на его лице сожаление.

— А чем же я плутовал? Четыре часа, поди-вот, прошло!

— Подожди. Да как тебя зовут-то?

— Михнов Вася. Василий Михнов, значит, семипалатинский мещанин, скорняком когда-то был... А твое время кончилось!

Он вынимает часы. Честное слово, это те самые часы из накладного золота за 9 руб. 75 коп., которые недавно смотрел я.

— Дай мне лампу! На секунду! Я — выбрал!

— Шали!

Я ползу вверх по глине, срываюсь. Но голова у меня ясная, лазорево-ясная. Я — счастлив. Я возьму у него на одну лишь секунду лампу — и всё!

Знаю, кем мне быть, догадываюсь.

Я выскочил на яр.

Передо мной — полоска степи водянистого цвета, затем белая полоска песка — дорога, телеграфный столб возле нее, ястребок, чистящий перья на телеграфном столбе, а дальше опять степь и за нею, самого густого синего цвета, цвета индиго, город. Заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, оранжевый яр, белый песок у воды, качающееся бревно и он, Иртыш, сизый, с голубоватым отливом.

И — больше ничего и никого!

Один, без лампы и без Духа, стоял я в тоске, пламенной и страстной, один посередине мира.

Один, именно тогда, когда мне надо быть Васей Михновым, семипалатинским мещанином, который был когда-то скорняком... «О великий Дух Земли! Я узнал тебя. Тебя родила земля. Ты ее вдохновение, и она так уверена в силе этого вдохновения, что не побоялась дать волшебную Медную Лампу в руки жалкого пьяницы Васи Михнова, ибо радость и творчество не погибают даже и в руках пьяниц».

Но я был один, и вскоре мысли мои показались мне вздорными.

Я не встречал больше мою любовь. Она вскоре покинула Павлодар, перебравшись за-

чем-то в Семипалатинск. Кстати, я, кажется, забыл назвать вам ее имя? Ее звали Ольга Залуцкая.

Когда я позже вспоминал о встрече с Васей Михновым, мне эта встреча казалась не очень-то умно рассказанной аллегорией. Экая, подумаешь, хитрость! Медная лампа, босяк, Иртыш, задумчивая и красивая девушка, выбор пути.

Но вот недавно я купил в комиссионном магазине медную лампу. На первый взгляд она мне показалась очень похожей на ту, которую давал мне Вася Михнов. Но, приглядевшись, я понял, что лампа совсем другая. По-видимому, я просто тосковал по молодости.

Разглядывая эту медную лампу, я написал одному очень дотошному знакомцу в Павлодар: не знает ли, что случилось с Ольгой Залуцкой? Месяца четыре спустя знакомец ответил, что судьба Ольги Залуцкой — странная. Из Павлодара она уехала в Семипалатинск — рожать. Как позже выяснилось, ее соблазнил или взял силою какой-то пьянчужка, некто Вася Михнов. По-видимому, соблазнил, так как, когда ребенку было полгода, он явился к Ольге и увел ее с собой. Встречали их в Омске и Челябинске — нищими. Ребенок их тоже нищенствовал. «Есть люди, которых прельщает горе и падение: в нем они ищут счастье свое», — добавлял мой знакомец.

И он был прав, пожалуй!

Да и я тогда, у яра, был прав.

*3 октября 1944 г. —  
16 ноября 1956 г.*

---



---

## ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ

### I

Отец поэта выделывал превосходные кривые ножи, какие ковал и дед отца, и прадед. Оттого земля дома ремесленников иль-Каман от бесперывного поступления угля и сажи стала несравненного черного цвета. Однако и на эту прокопченную землю зарились богачи, раскинувшие вокруг мастерской оружейника свои сады, увеселительные беседки и влажные фонтаны.

Народ уважает тех, кто кует хорошее оружие, и отчасти из страха перед народом, а главным образом из трепета перед острыми ножами, которые умели не только выковывать, но и применять с редким искусством ремесленники иль-Каман, судьи признавали право их владения.

Споря с богачами, не разбогатеешь. Иль-Каманы любили целительный блеск цветов и сочные плоды, но как они ни рыхлили землю, как ни заботились о ней, она дарила им лишь семь жалких кустов роз. Вдобавок копать и сажать быстро превращали расцветшие розы из белых в серые, а их алых — в махрово-черные. И все же цветы эти возвышались среди ржавых кусков железа, куч шлака и угля, подобно драгоценным выпуклым шелковым узорам на какой-то онемелой ткани, которая давно выцвела и обветшала.

### II

Мальчик Махмуд и в ковке ножей, и особенно в отделке их проявлял изумительную

ловкость и разумение. На рукоятку ножей он ввел орнамент роз, а лезвие украшал тремя полуразвернутыми лепестками. Заказчики предсказывали ему большое будущее. Быть может, ему суждено увидеть лучшие времена Багдада и он будет каким-нибудь крупным купцом, или мореходом, или устройтеlem процветающей компании караванов? Не его ли верблюды пойдут в далекую Бухару и Китай, а корабли — в Индию и Цейлон?

И отец его, обольстившись догадками заказчиков, подумал: «Что я знаю о будущем? Они много ездили и, несомненно, видят будущее лучше меня».

И отец повел мальчика к своему другу, судье багдадского базара, кади Ахмету. Кади Ахмет считался шутником, а это, как ни странно, украшает суд, обещая победу истцу и легкое наказание ответчику. Кади Ахмет преподавал мальчику начатки грамоты и поэзии, сказав, что остального — а оно огромно! — он должен добиваться сам. Иначе какая цена его ножам, если торговец, продающий ему железо, будет продавать ему уже готовые лезвия и рукоятки?

Затем отец повел его ко второму своему другу, правоведу Желладину, который скривился и закалился, изучая Коран, лучше и крепче самого удачного из ножей, выкованных отцом, и дедом, и прадедом.

### III

Едва мальчик успел погрузить свое сердце в грохочущие и оглушительные видения пророка Магомета, за которыми Желладин настойчиво указывал на Закон, — отец мальчи-

ка погиб, и мальчик вернулся к горну, к наковальне и к токарному станку предков. Всепожирающий, страшный «греческий огонь» поверг отца в глубины Средиземного моря, когда тот, в обществе таких же осунувшихся и голодных ремесленников, вздумал плыть в Италию, чтобы там выгодно продать свои изделия, а при случае подраться с теми, которые не желают покупать эти изделия. Багдад в те дни раздирали смуты, сталь для лезвий и рог для рукояток подорожали. Детей и жену нужно кормить, — и не продавать же свой домишко богачам, посредники которых все чаще и чаще стучались в деревянные ворота, источенные временем и червями.

Заказчиков не было. Ища занятий, молодой человек выходил к набережным Тигра, куда, медленно уравнивая бортами беглый свет на переливающихся волнах, пришвартовывались морские суда, пришедшие из Красного моря и груженные товарами Индии: душистым и драгоценным деревом, лечебными травами, пряностями, шелком.

Моряки с рыжевато-бурыми от ветров щеками срыгивали на камни набережной и торопились в притоны, пить, — о, беззаконные! — пить вино и ласкать таких же беззаконных и бесстыдных женщин. Глядя на моряков, молодой человек вспоминал своего доброго и ласкового отца, и сердце его kloкотало. Он предлагал свои услуги морякам, а они говорили:

— Видишь эти товары и видишь склады, тоже полные подобных же товаров? Мы их привозим напрасно. Караваны могут, конечно, отвезти их к Средиземному морю, но какой толк?

И они подробно рассказывали о неисто-

вом владычестве византийцев, которые овладели всем Средиземным морем и не позволяли Багдаду перевозить индийские товары в Европу. Молодой человек, рдея от злобы и желая вонзить все свои ножи в горла и утробы византийцев, говорил:

— Да, да! Мой отец погиб в море от огня византийцев. Я хочу им мстить, и хочу научиться плавать по морю, и прошу вас взять меня! Я научусь и пойду в Средиземное море во имя пророка и халифа...

— Да будет прославлено имя его! — восклицали моряки. — Но мы не знаем, пойдет ли еще в путь наш корабль. Команды наши полны, а новых кораблей не строят. Пойдем с нами и выпей с горя вина!

— Пророк запретил пить вино, — говорил молодой человек, отходя от моряков, а они, глядя ему вслед, говорили между собой, что из него выйдет добрый моряк, в свое время, конечно.

Тогда Махмуд иль-Каман, — ему в те дни шел девятнадцатый год, — начал сочинять стихи. Поэт жил в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи, — да будет прославлено имя его! — и стихи были о силе Багдада и о силе халифа, законного имама пророка, меча правоверных. Он прочел стихи кади Ахмету, и тот сказал:

— Стихи твои, пожалуй, еще лучше и оригинальней твоих ножей. Но если Багдаду не нужны твои ножи, то зачем ему поэзия?

#### IV

Поэт, светлый душой и телом, часто повторял про себя волнистые и жгучие, как пла-

мя, слова 74-й суры Корана: «Эти одежды — твои. И ты держи их чисто! И ты избегай гнусностей. Например, не раздавай милостыни в надежде вновь собрать ее». Поэтому он все чаще и чаще составлял стихи и оглашал их перед потухшим горном, когда, после судебных занятий, кади Ахмет навещал его. Поэт говорил:

— Заботящийся о вере и мести за веру, я хочу быть лучшим поэтом! Не затем, чтоб низко льстить халифу и быть плетевидным, подобно плющу, а во славу пророка.

Кади Ахмет, подвязав торбу с кормом к голове своего гнедого и пожилого мула, сядил возле узкой двери мастерской на коврик, который расстилала госпожа Бэкдыль, мать поэта. Кади выпивал из тыквенной бутылки, которую постоянно держал у пояса вместо ножа, некоторый целительный состав и говорил:

— Мне нравятся разговоры о поэзии. Но когда поэзией роют землю, словно конь передней ногой, это тревожит меня.

— А как же иначе? — восклицал поэт. — Багдад видит, что халиф стал чересчур уступчивым. Багдад хочет силы, а не уступок! И кто, как не поэт, должен быть посредником между халифом и Багдадом?

— Хм... — бормотал кади, отхлебывая из тыквенной бутылки, лоснящейся в его руках. — Хм... посредник... Посредник чего перелетающая птица, ведущая свои крылья с севера на юг? Посредник тепла и света, быть может, ха-ха? Я несколько иначе думаю о поэзии, дорогой мой. Она напоминает мне женщину, утомленную ночными ласками и перед сном выбалтывающую много прелестных без-

делиц. Жизнь наша — ворочанье с боку на бок перед вечным сном, и ничто так крепко не помогает уснуть, как безделицы. Признаться, я огорчен, что познакомил тебя с поэзией, Махмуд. Мне кажется, ты понял ее превратно.

— Я понял ее превратно? — восклицал своим грохочущим голосом Махмуд. — Разве она не меч и не огонь ислама? Поэзия должна наполнить гордостью сердце халифа!.. Мне горько думать, что не халиф, а эмиры, его вассалы, гордятся своей силой. Вы слышали, наверно, кади, что некий нечестивец — начальник одного дикого племени — мерзавец Али, выстроивший мощный замок в Алеппо, возгордился и присвоил себе прозвище Сейфф-ад-Даулы, «меч династии»...

— Вот дурак! Ему мало хлопот с самим собою, так он придумал хлопоты над покроем платья для какой-то новой династии.

Поэт продолжал:

— Увы! Это не династия халифа ал-Муттаки-Биллахи...

— Суд требует, — сказал наставительным тоном кади, — при каждом упоминании достопочтенного имени халифа прибавлять: да будет благословенно имя его!

— ...а его, подлеца Али, собственная династия! И не позор ли для Багдада, что кое-какие арабские племена склонили перед нечестивцем Али свои бороды, а поэты воспевают его в стихах? Теперь именно, как никогда, мы, оставшиеся поэты, должны воспеть нашего халифа!..

— Да будет прославлено имя его! — сказал кади и отпил из бутылки. — Что касается меня, то я полагаю, что при таких сложных

обстоятельствах полезнее было б употреблять настой мускатного ореха, полыни, хмеля, который, как видишь, употребляю я. Иначе твое чело раньше времени покроется морщинами, глубокими, как трещина в горной породе, а нрав твой станет подозрительным и выпытывающим. Если бы мне удалось увидеть халифа, я б сообщил ему немедленно рецепт моего состава...

— А я бы прочел ему свои стихи! — прокричал, задыхаясь от страсти, поэт.

## V

Кади Ахмет жалел поэта и желал ему добра. Наполнив до краев свое сердце добрыми пожеланиями, кади Ахмет, видя, что поэт чересчур часто ходит к набережным Тигра, в результате чего уйдет когда-нибудь в море, а богачи, потеряв Махмуда из виду, вновь затеют тяжбу, и старуха мать и малолетний брат поэта останутся без крова, кади уговорил законоведа Джелладина пойти к визирю и хлопотать для Махмуда небольшой заказ на ножи.

И он получил заказ.

Вновь запылал горн, младший брат качал мехи и подкладывал угли. Махмуд шлифовал нож или вытачивал ему из рога подобающую рукоятку.

Кривыми ножами перерезают горло скоту и неверному, если он попадет в руки мусульманина. Горло в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророка и халифа, — вот почему поэт для визиря особенно тщательно выделывал ножи, а один нож, тонкий и короткий, сделал таким, что на нем как бы посто-

янно жила слизь, струящаяся из горла перепуганного и умирающего врага.

Когда принесли к визирю первую партию ножей, он, вспомнив, что ножи эти рекомендовал ему шутник кади Ахмет, пересмотрел сам все ножи и, остановив свой взор на тонком и коротком, как бы покрытом слизью из горла ужаснувшегося врага, остался очень доволен и сказал:

— Действительно, этот Махмуд иль-Каман искусный мастер. Я возьму этот нож себе. — И, разглядывая нож, он увидел на лезвии его семь роз и три изящно выгравированных лепестка на рукоятке. — Необыкновенно искусный мастер.

Визирь призвал кади Ахмета, передал ему свою благодарность и приказ о новом заказе.

Кади сказал в ответ:

— Не удивляйтесь, о визирь, что мастер Махмуд пришлет вам благодарность стихами. Он грамотен, знаком с каллиграфией и в свободное время составляет стихи.

— Стихи? — И визирь сказал: — Халифа утомили поэты. Пишут о любви к женщине, воспевают ее рот и ноги. Как будто у нас нет коней и оружия!

— Поэт Махмуд поет лишь об оружии и мести византийцам.

— Оружие? Превосходно. Византийцы?.. Хм... Истинный правоверный ненавидит византийца, но... мы ведем сейчас с ними некоторые переговоры об эдесской святыне... Ты слышал? Скоро я соберу законоведов и кади. Ты будешь приглашен. Можешь взять с собой и этого поэта. Если будет свободное время, мы послушаем его. И я ему сам посоветую не писать о женщинах. Тьфу. Недавно,



обсуждая повод, почему эмир Эдессы вдруг подарил мне тридцать пять своих самых любимых невольниц, — мы осмотрели их. Возможно, я отношусь к эмиру Эдессы несколько предубежденно и мне не нравится его манера вести переговоры с византийцами, но эмират у него большой, он выбирал для себя лучших женщин, и уверяю тебя, кади, я не нашел среди них хотя бы одну, которая была достойна поцелуя в лоб. И тогда Джелладин выразился о женщинах так метко, что даже ты, кади, позавидовал бы.

Визирь расхохотался.

— Ха-ха-ха! Джелладин сказал... ха-ха! Истый воин Закона должен относиться к женщине, как садовод к ивовой корзинке для упаковки фруктов. Не все ли ему равно: старая корзинка или новая? Лишь бы довести до Базара Суеты свои фрукты. Ха-ха! Я бы добавил — коль есть вообще расчет везти фрукты.

Кади Ахмет возвел глаза к небу. Визирь, читавший в глазах кади одобрение своим словам, ошибался. Кади Ахмет хотел бы сказать: «О верхушка Закона! О зубцы Мысли! Любили ль вы женщину?» Но даже болтливый кади умел иногда молчать перед сильными.

Кади, верхом на своем гнедом муле, плелся из дворца визиря.

Был вечер, сонный, спелый, когда все вокруг тебя кажется свежим и новым, словно видишь это впервые. И небо, размышляющее над твоими делами, и последний луч заката, и первая звезда, и слабый вздох ребенка, засыпающего в колыбельке, которую мать осторожно уносит с плоской крыши своего дома. И Багдад, и вся жизнь казались кади Ахме-

ту большой, значительной, поддерживающей и заботящейся о нем... И он стал мурлыкать про себя песни. Он хотел бы спеть какую-нибудь любовную песню, сочиненную его молодым другом — оружейником. Искал — и не мог найти. И он опечалился в сердце своем, потому что если ты в такой вечер не найдешь песни друга, то что значит дружба твоя?

## VI

Кади напрасно печалился.

Мореход с радостью пристает к материку. Но с не меньшей радостью он видит и острова, направляя к ним свой корабль. Багдади его слава для поэта — материк. Но если вам встретится на долгом и тяжелом пути поэзии небольшой остров, влекущий вас тенистыми деревьями, травой лужаек и рыхлой, влажной почвой возле родника, разве вы минуете его?

Махмуд глядел в тот вечер, так же как и кади, в средину неба и видел его повелительную и массивную глубину такой же сочной и ласкающей, какой видел ее кади. А может быть, он видел ее еще более целительной, чем кади Ахмет. Ведь кади Ахмет на своем пути мог сейчас разговаривать лишь с гнедым мулом, а поэт говорил с возлюбленной. Он стоял с нею, рука об руку, на маленькой и плоской, как лужа, крыше своего черного одноэтажного домика. Он стоял и пел новые стихи в честь этой женщины, пел их вполголоса, но звуки эти были для нее столь оглушающи и прославляющи, что она и дрожала и плакала от радости счастья.

А он, кичась нежностью и плавностью своих стихов, позволял им смягчать опаленную

пожаром корабля, на котором сгорел его отец, свою воинственную душу.

И душа его сладостно и несколько испуганно ныла, точно очищенная от коры часть древесного ствола.

## VII

Госпожа Бэкдыль, мать поэта, хорошо вела хозяйство его. Получив второй заказ на ножи, она попросила задаток. Одну треть она отдала сыну, чтоб он купил сталь для лезвий, а две трети взяла себе, сказав, что задолжала и что надо выплатить долги. Между тем долгов у нее не было, а, наоборот, еще от первого заказа она удержала кое-какие деньги. Ей не терпелось купить трех хороших коз, которые бы давали молоко и тонкую шерсть для прядения. Сыновья, особенно младший, нуждались в еде, а сыр и козье молоко весьма полезны. Кроме того, они сильно пообносились.

Разумеется, госпожа Бэкдыль рассчитывала, что ее сыновья когда-нибудь заработают достаточно много денег и она наведет должный порядок в доме. После потери мужа госпожа Бэкдыль часто прихварывала, пальцы ее дрожали, и, подобно блуждающему огоньку, ее дразнила надежда, что она приобретет трех невольниц, коня, двух ослов и множество овец и коз!.. Невольницы прядут, ткут, делают сыры, убирают полы и двор, подкидывают угля в горн: качают мехи. Когда они плохо работают, госпожа Бэкдыль слегка бьет их, они кричат, и все соседи, слыша крики, говорят между собой, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

Поэтому, прежде чем спуститься на пло-

щадь, где продают коней и коз, госпожа Бэкдыль, томимая надеждой на покупку рабынь, обошла ряды, крытые дырявыми циновками, сквозь которые щедро падало жаркое солнце, и где было душно и тесно, и где продавали невольников и невольниц.

Конечно, мать хотела б купить белую невольницу с плотным телом, отлично вскормленную, от которой легко можно было б добиться послушания. Черные невольницы много спят и едят, подвержены чесотке, и от них плохо пахнет. Белые — зато дороги, особенно сейчас, когда багдадские воины слоняются без дела, а если вздумают воевать, то, наоборот, сами попадают в невольники к византийцам!.. Были у нее, кроме рабочих, и другие соображения. Сын ее возмужал, силен, и в нем уже клокочет желание, создающее много несчастий, если его не победить с помощью жены. Женить, женить!.. Люди болтают, что Махмуд безобразен и потому не сможет увлечь красавицу, которая бы согласилась на бегство или пустить его в гарем, опоив своего мужа.

«Безобразен! Безобразия нет, а есть трусость. Он же не труслив, а значит — красивее многих красавцев. Если же он не увлекает красавиц, то лишь потому, что работает для матери и своих стихов. Значит, я должна найти ему рабыню!»

Она не спешила. К солнцу и пыли она привыкла, базарный шум доставлял ей наслаждение. Она шла мелкими шажками, пыль тонкой мутно-желтой струей катилась между пальцами ее тощих ног, голых до щиколотки. Она размышляла вслух:

— Безобразен? Широкие, растопыренные

уши, как парус? Подсмеивайтесь!.. Этими ушами мой сын слышит в мире то, что ваш ленивый слух никогда не услышит! Толстый, короткий, как кулак, нос с огромными ноздрями? Он чувствует далеко запахи счастья! Вашему ли расслабленному носу обладать таким нюхом, дряблые псы! Узкие глаза? А зачем ему видеть все горе в мире, бездельники, не видящие ничего, хотя глаза у вас больше подноса!..

Размышляя так и прицениваясь, госпожа Бэкдыль шла по рядам, где по одну сторону, в своем естественном безобразии, сидели и возлежали на полу многочисленные черные невольники и невольницы, а по другую — раскрашенные и завитые — на скамейках, которые подчеркивали их иноземное происхождение, сидело несколько белых женщин. Позади, стремясь оттенить их подержанную красоту, висели ковры.

Поодаль, на коврах, возлежали купцы, изредка глотая кофе. Иногда вставал какой-нибудь продавец и подходил к белым невольницам, чтобы похвалить красоту их, а где красоты невозможно было обнаружить, восхвалял он послушание и работоспособность.

Обойдя ряды, госпожа Бэкдыль оцепенело остановилась и сказала с глубоким вздохом:

— Неужели ничего нельзя поймать лучше? Чахнет, чадит Багдад, факел ислама! Разве это женщины? Разве таких женщин продавали лет десять тому назад? Кобылицы были, и племенные кобылицы притом, а не женщины!

Торговец сказал:

— Мать, ты сама была, быть может, десять лет назад кобылицей, а теперь ты сжатая полоса.

Шакал не перекричит торговца рабами, гиена не поборет его своими гнусностями. Госпожа Бэкдыль смолчала. Стоящий рядом с нею знакомый мастер морских лодок и припасов рыбной ловли сказал:

— Ваша правда, госпожа Бэкдыль. Мы разоряемся! Всех сильных невольников забирают себе вассалы, а в столицу халифа — да будет прославлено имя его! — поступает дрянь, отчего происходят язвы, вред и ущерб. Поверите ли, вчера я купил у этого негодяя черного раба, с виду мощного и, казалось, даже щеголявшего своим здоровьем. Приказываю ему сегодня тащить лодку к реке, чтобы испробовать ее ход... он падает, у него горлом кровь! Я привожу его обратно, чтоб обменять или получить свои деньги, а торговец не хочет ни того, ни другого!

— Негодяй!

И госпожа Бэкдыль добавила:

— Подумать только, господин мастер лодок! Ведь давно ли, при покойном халифе ал-Матадида, в двухсот восемьдесят первом году хиджры привели сюда три тысячи пленных... — И она продолжала, передавая базарной прозой одно из стихотворений своего сына: — А теперь? Сын одного из этих сопляков... их за бесценок продавали вот здесь, возле этой навозной кучи, которая называет себя торговцем рабами!.. Подлец Али, прозвавший себя «мечом династии», смеется над Багдадом! Пощечина аллаху!.. И он еще осмелился при своем вонючем дворе завести каких-то поэтов. Поэты?! Паралитик ал-Мутанаби, пьяница Абу-Фарас, гнусавый Ан-Нами. Всех их

пора выставить вот сюда, в эти ряды!.. — И она продолжала, указывая дрожащей рукой на белых невольниц: — Смотрите, до чего дошло! Какую-то грязную черную девку выдают за белую, а просят за нее столько же, сколько за коня или верблюда! Купите-ка, попробуйте. Она не только не сможет услаждать ваш вкус и слух, она так малосильна, что, поставь на нее клеймо вашего дома, она сдохнет от волнения!

И мать Бэкдыль радовалась, говоря это, потому что ее неудовольствие происходящим вполне соответствовало ее денежным средствам. За невольниц просили так много!

Едва она закончила свою речь, как одна из белых невольниц, высокая, худая, с повисшими грудями и впалыми голубыми глазами, вдруг склонилась на бок и упала со скамьи прямо на каменный пол головою. Лицо ее, и без того равнодушное, стало не живее камня и словно бы покрылось плесенью смерти.

Торговец закричал, махая кулаками в сторону матери Бэкдыль:

— Она сглазила ее, этот дух преисподней, эта чахлая рвань!

Между тем надсмотрщик базара, он же и врач, наблюдающий за чистотой и здоровьем, кинулся к владельцу невольниц:

— Ты обманул меня, подлец! Я поверил тебе, что она здорова. А ты просто показывал мне ее в тени, а стоило выйти солнцу, как она упала! Ты заражаешь базар и других невольников.

И он повел ее к кади Ахмету.

Торговец, склоняясь перед кади Ахметом, бормотал:

— Господин кади! Она была вся прелесть

и блеск. Я ее кормил сладкими лепешками, мясом и давал ей даже вино, да простит мне это аллах. Она была как померанцевый цвет, но эта старуха сглазила ее, и я требую от старухи вознаграждения!

Кади Ахмет узнал мать поэта. Ему захотелось сделать добро и невольнице, и матери поэта, а кроме того, торговец был отвратителен. Пока торговец и старуха бранились, кади рассматривал невольницу. Она лежала на полу, сырая от болезненного пота и как бы вся закутанная страданиями. И все же кади Ахмет увидел в ее лице что-то свежее и ясное, а в движениях ее тела — гибкость.

Кади Ахмет сказал, обращаясь к матери поэта:

— Женщина! Ты могла сглазить, сама не зная того. И ты должна понести наказание.

И он сказал, обращаясь к торговцу рабами:

— Мужчина! Ты своими беспутными словами вызвал действие дурного глаза. И ты тоже должен понести наказание.

Подумав, кади Ахмет добавил:

— Женщина! Ты возьмешь невольницу и заплатишь за нее цену двух коз. Мужчина! Ты подчинишься этой цене. Молчите, иначе вы оба будете ввергнуты в тюрьму.

Он глотнул из тыквенной бутылки и сказал:

— Уходите. Суд окончен.

## IX

Махмуд посмотрел на невольницу, худощавую, чужую, со светлыми спутанными волосами, которые катились по ее костлявой



спине, словно дрова, сплавляемые по горной реке россыпью. И он посмотрел на худую козу, которую купила мать, потому что, испуганная Законом, она отдала слишком много денег торговцу рабами и козу пришлось купить самую плохую.

Махмуд сказал:

— Зачем они? Что с тобой случилось, мать?

Она проговорила, уважая Закон и слова кади Ахмета:

— Девушка будет чистой, теплой, тяжелой, как морской прилив. Я откормлю ее. И коза тоже будет откормлена!

Как ни уважал он свою мать, но он не мог удержаться от хохота.

И, вспоминая хвастовство матери о морском приливе, он хохотал всегда, когда видел козу и невольницу вместе.

## Х

Минуло три месяца, и он перестал хохотать, глядя на нее. Слова матери сбылись. Невольница стала чистой, и ее походка растраивала его чувства и мешала ему составлять песни. Он издали чувствовал ее теплоту и ее глаза, уже не впалые, — они сияли голубым огнем, и взгляд их, нежный и приятный, останавливающийся на нем, заставлял его насвистывать и потягиваться.

А девушка с улыбкой вспоминала свой испуг, когда впервые вошла в этот черный дом, обитатели которого показались ей неграми. Но вскоре она увидела, что их зачернила работа и что если их мыть долго, то, быть может, отмоешь и добела! И она с радостью

взялась за стирку. Затем оказалось, что это добрые, ласковые люди, любящие цветы, и она с радостью поливала семь кустов жалких роз, и розы цвели так, как они не цвели никогда.

Так произошло начало любви.

Любовь возматурала медленнo и осторожно. Даже кади Ахмет не замечал ее. Правда, он долго не появлялся к ним, возможно сомневаясь в своей прозорливости, но однажды, чересчур много хлебнув из тыквенной бутылки и боясь в таком виде явиться домой, приехал к ним и, садясь на коврик, спросил:

— Женщина! Довольна ли ты своей покупкой?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я довольна. Даже коза и та поправи- лась.

И она поклонилась ему.

Кади Ахмет сказал:

— Из всех судебных процессов, проведенных мною, этот, пожалуй, был самым удачным. Дело в том, что я редко лживо толкую Закон, а тут я толковал его совершенно превратно. Не сделать ли мне из этого подобающие выводы для следующих процессов?

И он долго сидел у них, наслаждаясь своей бутылкой и своим остроумием, и в первый раз поэт слушал его с неудовольствием: не потому, что кади говорил плохо, а потому, что поэт спешил к ней.

В любви к ней поэт проявил ожидание. Он не набросился на нее, как должно хозяину рабыни. Он дал возрасти и ее и своему чувству, и когда эти чувства слились, они охватили их, словно огромный вал прилива, и он сказал матери:

— Мать, ты была права. Она — чистая, теплая, и чувство к ней у меня огромно, как прилив.

Мать радовалась его словам, хитро улыбаясь. Она знала, что когда она купит ему еще двух невольниц, его чувство ко всем трем будем огромно, как океан, а она будет хлестать рабынь по щекам, упрекая их за нерадивость, и они будут кричать, и соседи будут говорить, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

## XI

Однако бывали часы, когда он грустил. Любовь, как поется в песнях, — цветок. И он нашел этот цветок! Но все же, сколь ни мил цветок, — это флора небольшой местности. Его цвет, его букет цветов — меч, обнаженный в защиту халифа! И халиф, направляющий этот меч! И Багдад, воплями и песнями воспевающий этот меч! И над жидкой кровью неверных цветут его стихи, стихи Махмуда иль-Каман!..

Девушка, думая, что он огорчается любовью к рабыне, сказала ему:

— Я не простого рода. Я скажу тебе то, чего не говорила и в чем не признавалась другим арабам. А даже отрицала это и хворала непрерывно от этой лжи. Я не хотела, чтоб византийцы хвастались, что они продали дочь князя! Мой отец — начальник одной из дружин князя Игоря и сам княжеского рода. И братья мои, Сплавид и Гонка, — князья.

— Кто такой князь Игорь? — спросил поэт. — Багдад никогда не бился с ним и не получал от него дани.

— Князь Игорь никому не платит дани. Он со всех берет дань! Он — владелец обширной земли Русь, где лето с теплыми и короткими дождями, а зимой земля покрывается колеблющимся и зыблущимся снегом.

— Мой отец в детстве видел снег. Он выпал однажды в Багдаде. Снег держался три дня. Много людей тогда умерло от холода и испуга.

— Мы не боимся ни холода, ни испуга. Мы — Русь. Помнишь базар? Я собиралась умереть от негодования, что какая-то черная негритянка торгует меня, но добрый судья помог мне увидеть видение счастья. Я верю, что принесу тебе счастье, а свое я уже получила от тебя.

Махмуд спросил:

— Где же ваша страна, скажи? — И он поспешно добавил: — Удивительно, как плавно сердце, охваченное любовью. Твоя страна уже близка мне, и я томлюсь по ней. Я хочу знать о ней все, что ты только помнишь!

— Моя страна лежит далеко, по ту сторону шипящей, как змий, на весь мир Византии. Моя страна растирает в пыль и в песок своих врагов, и с времен князя Олега Византия платит нам дань! Три года назад Византия отказалась платить нам дань. Тогда наш князь Игорь собрал войско и с обширной реки Днепр пошел к Византии...

— А, поход варваров! — сказал поэт. — Я слышал о нем. Византийцы ведь прогнали вас?

Даждья, дочь Буйсвета, сестра Спавида и Гонки, сказала, чувствуя, что по правам своим она уже обязана предостерегать поэта:

— Ты опрометчив, Махмуд. Верить утверждениям византийцев! Их правда всегда в тумане, несмотря на то что над Константинополем всегда ясное небо. Варвары? В нашей стране — большие чудные города, наши ладьи управляют всем Черным морем, и наш меч, ослепляющий врагов, грозен всем и каждому! Варвары?! Ха-ха!.. Завистливая, струющаяся ложью Византия, стараясь унижить нас, называет нас варварами, и ты повторяешь это унижительное слово, Махмуд?

Защищаясь от ее справедливых упреков, поэт спросил:

— Как же случилось, что страна ваша велика, богата воинами и оружием, а ты, дочь князя, попала в плен?

— Как?! Из-за слабости Багдада.

— О-о! — воскликнул он с горечью.

## XII

Дав улечься буре, поднявшейся в нем от ее обжигающих слов, Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, продолжала:

— В девятьсот сорок первом году, по общепринятому византийскому летосчислению, князь Игорь, повторяю, собрав войско на множество судов, двинулся на Константинополь. Три года назад... Горе, горе, о Перун, бог Киева и славян!.. Я преклоняюсь перед твоими стихами, Махмуд, но никакой сборник твоих стихов не сможет описать страданий, перенесенных мною. Когда я придумываю мечь византийцам, любые их мученья кажутся мне только подборанием колосьев, а не полной жатвой. Мсти им, Махмуд, мсти им! Они убили твоего отца, и вот я плачу о нем теми же



влачащимися долгими слезами, какими плачу о моем брате Сплавиде!

Она вытерла свои слезы, и рукав ее платья от пальцев до локтей был мокр от слез.

— В числе других женщин, желающих увидеть славу Руси, я сопровождала войско. Еще при Олеге мой отец, витязь Буйсвет, погиб накануне того дня, когда наш князь приблизил свой длинный коленчатый щит к Золотым Воротам столицы византийцев. Олег огромным молотом вбивал гвозди с такой силой, что гром стоял над Константинополем и жители прятались в погребах и ямах, опасаясь землетрясения!..

— О, красота, о, прозрачность аллаха! Твой рассказ, милая, идет стройной линией, как войско. Говори, говори!..

— Повторяю, под Константинополем коварный византиец убил моего отца, спрятавшись за дуб, когда отец подвел своего коня, чтоб напоить его из родника. Я была в дни похода Олега еще ребенком, но я помню вопли матери. И теперь, когда Игорь направился в поход, я сама хотела видеть, как он прибьет к Золотым Воротам свой щит. И я поднесла ему небольшое золотое украшение для этого щита. Так сделали многие наши девушки, отчего щит заблестел, как солнце, и был тяжел, как телега, груженная зерном. Но князь наш силен, и он носит щит с легкостью!..

— Он красив, ваш князь Игорь? — спросил, побледнев от ревности, поэт.

— Нет, нет! — поспешно сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавиды и Гонки. — Он сутул. Вернее сказать, горбат! И он косит

одним глазом. Он совсем некрасив, и редкая девушка влюбится в него...

— Редкая! Значит, все же влюблялись?

— Я говорю в том смысле, что не знаю такой девушки! Уважение к князю и любовь — это совершенно разные вещи, Махмуд.

Она солгала? Едва ли. В свое время, как и многие девушки Киева, она притаенно вздыхала по князю Игорю. А теперь и на самом деле он казался ей уродливым, и она искренне клеветала на него, называя его и горбатым и косым. Не будем осуждать любовь, она прекрасна, даже и при такой, правда наивной, клевете.

Слова ее звучали искренне. Поэт сказал:

— Братья тебя обожали, наверное? И ты у них единственная сестра? Но как же случилось, что они взяли тебя с собой в битву? Согласись, брать девушку в поход, да еще против таких гнусных врагов, как византийцы, по меньшей мере неразумно.

— Я убедила их, сказав, что наше хозяйство расстроилось и мне самой надо последить за их добычей. Они легкомысленны! Они склонны к игре в кости, к вину. Кроме того, им не везет в игре. Так, недавно вернувшись из похода на печенегов, братья привели шестьсот пленников, и ни одному из пленных не было больше двадцати лет...

— О, богатая добыча! — воскликнул поэт. — У нас такой витязь уже презирал бы халифа, называя себя — тьфу! — «мечом династии». Хочу повидать твоих братьев!

— И вы подружитесь! — сказала она, сжимая его руки. — Но только Славид уже погиб, а выздоровел ли другой — не знаю...

Она помолчала.



И он спросил:

— Подозреваю: они проиграли шестьсот плененных печенегов?

Грустно улыбнувшись, она сказала:

— Да, проиграли, в пять дней. И вот, когда я им напомнила об этом проигрыше, добавив, что они проиграют и богатую византийскую добычу, — они взяли меня с собой.

Был вечер. Над высокими стенами, окружавшими дома Багдада, шелково шелестели деревья, уходя в сиреневую тьму вскачь приближающейся ночи. Весна кончалась, и этим вечером, быть может, прошел последний ее, тихо мерцающий, дождь. Во всяком случае, между вершинами деревьев и водой, шумящей у их корней, прижавшись друг к другу, расселись соловьи и пели, всячески расцвечивая свои песни.

Вслед за деревьями в сиреневую мглу скрылись и широкие разноцветные купола мечетей, и только тонкие минареты, как мечи пророка, пронзали небо. И небо, пронзенное мечами веры, истекало нежным светом, постепенно заменяясь другим, тревожным и мрачным. Это было световое кольцо вокруг луны, которое показалось раньше самого светила, и показалось оно над медресе эль-Мустинсеря.

По переулку проехал всадник. Быть может, это был кади Ахмет? Мул хлябал подковой, и всадник, в такт этому хлябанью, бормотал какую-то песню.

— А возможно, твои братья и правы, проигрывая все в кости? Зачем нам добыча, пленные и золото? Воин и поэт не должны ли быть расточительными?

И он расточительно назвал ее луной, и

небом, и красной медью своего трубящего радость сердца, и мечтой счастья!

И, захватив ее мизинец указательным пальцем своей руки, ходил с нею по крыше домика, такой же тесной, как и дворик внизу, где лежали под навесом куски металла, из которого он ковал свои кривые ножи, украшенные лепестками, и лежал сухой помет для топлива, спрессованный в кирпичи, и лежали древесные угли для горна. Там же, возле козы, укладывалась на ночлег мать поэта, госпожа Бэкдыль, потому что дом она предоставила любовникам. Мать радостно вздыхала, слыша глухой говор счастья, доносящийся с крыши. Ах, если б еще двух рабынь, и как бы все было великолепно, и как бы соседи завидовали тогда иль-Каманам!..

### ХІІІ

Они не спали всю ночь, и на рассвете, ослепленный счастьем, поэт поднял голову с ложа и спросил:

— Однако, моя любовь, ты не объяснила мне, как же Багдад мог помешать князю Игорю в его мести византийцам?

— В год нашего похода, — сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, — в Багдаде и во всем халифате была смута. После смерти халифа и поэта АрРади...

— Он был плохой поэт!

— Может быть, поэтому вы не могли так долго выбрать нового халифа и резали друг другу горло?

— Я, как и ты, ненавижу смуты!

— Прекрасно. Тогда ты скоро поймешь

меня. Тебе известно, что на восток от Византии, направленный против Багдада, стоял тогда с большим войском умный и опытный домостик схол Иоанн Каркуас?

— Да.

— И тебе известно также, что, когда Багдад ослабел, Иоанна и его войско византийский император увел к западу? На нас.

— Нет. Этого я не знал. Я слышал только, что Иоанн ушел.

— Иоанну добавили войска, которые готовились вторгнуться в Южную Францию. А мы уже в это время дрались с византийцами в Вифинии! О, мы их били! Я имею основания думать, что мы били их прекрасно! Они пускали от нас коней и свои тонкие ноги во всю прыть. Мы подошли к Никодимии, а по берегу Черного моря — к Гераклее и Пафлогонии. Византийцы перепугались. Они собрали все имеющиеся у них таинственные машины, извергающие воспламенительный «греческий огонь». Привели свой флот, которому в иные времена стоять бы против багдадского флота...

— О, горе! — простонал поэт. — Горе Багдаду!

— Византийцы сожгли наши ладьи. Наше войско отступало. Старшего брата Сплавиды изрубили мечами. Младшего, раненного, уносили трое дружинников — все, что осталось от славной дружины князя Буйсвета! Защищая братьев, я взяла лук. Меня ранили в плечо. Вот сюда, смотри! Трое дружинников всего... кого же нести? Меня? Брата? Я сказала: «Разложите костер. Зажгите. Я встану на вершину огня. А скажите в Киеве, чтобы Русь пришла сюда за моим пеплом. И чтоб посы-

пала этим пеплом главу византийского императора и растоптала его корону на моей могиле!»

— Хорошие, всегда вспыхивающие слова!

— Костер пылал. Я сидела на вершине его. Дружинники унесли брата, так как византийцы были близко. Но у византийцев большой бог, он вставляет иногда днище в такую бочку, которая, казалось бы, совсем развалилась. Вдруг хлынул ливень, потушил костер, и меня сняли с костра обгоревшей, но живой. Я не хотела выздоравливать. Я звала и видела дух моего отца Буйсвета и дух моего брата Сплавида!.. Тем временем Иоанн Каркуас, отправленный вновь на восточную границу, увез меня с собой. Большую, они пытали меня, чтоб узнать мое звание. Я молчала! Тогда они плюнули мне в лицо и в числе других рабов обменяли за какого-то проткнутого багдадским ножом византийского старикашку-вельможу... Я сгорала, духи отца и брата стояли рядом со мной... Ты, Махмуд, подарил мне сердце и создал мне душу. Я жива! И я сильнее, чем когда-либо, жажду мести византийцам.

Ее слова радовали его. Он сказал:

— Мы будем мстить!

#### XIV

Мстить! Но как?

Несколько дней подряд, не отходя от горна и станка, поэт делал ножи. Подруга его дергала веревку, которая раскачивает мехи, подающие воздух в горн. За работой поэт неустанно думал: «Если визирь заказал мне так много битвенных ножей, то, значит, ожидает-

ся сражение с неверными. Багдаду, а значит, и всему халифату известно, что византийцы подошли к стенам Эдессы и, упоенные славой, требуют выдачи эдесской святыни. Властный эмир Эдессы приутих и приехал советоваться с халифом. Не пора ль пропеть песню перед халифом?»

Поэт стучал молотком по металлу, и ему грезилось, что он стоит перед халифом и слова его стучат по сердцу повелителя, извергая искры.

Даждья спросила:

— Что такое убрус, о котором мать принесла весть с базара?

Махмуд сказал отрывисто:

— Эдесская святыня.

— Чьей веры святыня? Мусульманской? Христианской?

— Той и другой.

— Как же — и той и другой? Вы называете себя правоверными и, однако, признаете христианскую святыню?

— Пророк Исса, или, как его называют византийцы и несториане, Иисус, освящен в Коране.

— Еще одна слабость Багдада!

— Где ты нашла слабость?

— Говорят, святыня — это полотенце, которым однажды утерся пророк Исса. На полотенце нерукотворно отпечатался лик пророка Иссы. Как же так? Ведь пророк Магомет запретил поклоняться идолам и всяческим изображениям?.. О, вы рабы собственной слабости! Вы поклоняетесь какой-то тряпке, потому что ее нарисовал византийский художник. У греков были великие художники, а у вас, арабов, никогда не было художников, и

не потому ли пророк Магомет запретил рисовать портреты?

Махмуда раздражала ее болтовня, тем более что в ней заключалась правда. Но что она твердит — слабость, слабость! Нельзя же, в самом деле, ковать ножи и собираться на битву, сознавая в то же самое время себя слабым?

И он сказал:

— Молчи. Ты мешаешь работать.

— Наоборот. Я помогаю тебе работать, так как развиваю твои мысли. Нужно быть последовательным. Если ты мусульманин, зачем тебе христианская святыня?

— В халифате много христиан, и Коран...

— Коран приказывает тебе уничтожать неверных!

— Молчи! Что ты понимаешь в Коране? Ты языческой веры...

— Я языческой веры? — воскликнула она. — Моя вера одна: если любишь, люби со всем, что есть в этом человеке. А ты мне кричишь: молчи! Убей меня тогда. Коран приказывает тебе уничтожать неверных, а ты мне не веришь!

На лице ее выразился гнев и презрение. Отталкивает ее, дочь Буйсвета, сестру Сплавида и Гонки? И губы ее сжались так, словно она собиралась плюнуть ему в лицо.

Как, плевать в лицо арабу? Поэту? Нечестивая! Он отбросил молот, потому что был зол и чувствовал опасность.

Она, распахивая одежды и указывая на свою белую грудь, воскликнула:

— Бей ножом! Вот ножны для твоего ножа, неверный и неверующий.

Он отступил от нее и сказал:

— Ты глупа.

— Значит, ты меня не любишь?

Он молча ушел.

## XV

— Что такое поэт? — спросил сам себя кади Ахмет, увидав входящего к нему Махмуда. — Это основа радости. Человек и его жизнь зачастую — игра судьбы. Поэт берет из этой игры наиболее веселые моменты и словами, тающими во рту, рассказывает о них другим, с тем чтобы люди были выносливы и снисходительны. Итак, мы ждем твоей песни, поэт!

— Я сам жду от вас, добрый кади, и от вас, о перст Закона Джелладин, помощи и указаний.

— Прекрасно! Будем утешаться вместе.

И кади Ахмет подбросил ему подушку, чтоб поэт мог облокотиться, и указал место на ковре рядом с собою. Вследствие своей снисходительности к людям кади был беден. Однако он никогда не жаловался на свою бедность, а даже восхищался ею, говоря, что у бедного всегда отлично работает желудок и он оттого может без помехи наслаждаться благами жизни, вроде воздуха, солнца или цветущих деревьев. Багровый, полнокровный, рыжебородый, он возлежал на рваных, жестких подушках с таким счастливым лицом, словно подушки мягче пуховиков, а лохмотья их глаже шелка. Он курил дрянной табак и пил с удовольствием плохой, дешевый кофе, который варил себе сам не потому, что его не уважала или не любила жена, а потому, что

не хотел затруднять ее. С женой, что редко бывает среди праведников, он жил дружно.

Против кади сидел законник Джелладин, согнутый, изможденный и порядком озлобленный. Его уму принадлежало изречение: «Есть Закон, есть и ты». Встретив вас, он не желал вам ни доброго утра, ни доброго вечера, — он желал вам законно провести свое время. И он пичкал людей текстами законов, как неразумная кормилица ребенка грудью, обижаясь и негодуя, что обкормленный ребенок кричит. Джелладин глядел на людей так, точно готовился бить их сейчас кнутом или подвергнуть пытке. И только когда человек не подавал признаков жизни, Джелладин смотрел на него милостиво, передав его другому судье, который, он допускал, знает Закон так же, как Джелладин.

Из всех людей, пожалуй, только один кади Ахмет находил удовольствие от встреч с Джелладином. «Наш ум как нож — остер, когда имеется хороший брусок, — говаривал кади. — Кроме того, у него, бедняги, имеется лишь одно наслаждение — Закон, а его, как я знаю по опыту судьи, очень тяжело переварить. И я надеюсь в конце концов познакомиться его хоть с парочкой из тех многочисленных и разнообразных наслаждений, которые известны мне».

Чего хотел сам Джелладин от кади Ахмета? Быть может, свидетельствования на суде беззаконий кади Ахмета, когда пронизательный халиф — закон законов — разглядит все проступки кади Ахмета и сменит его и отдаст самого под суд, и на этом суде будет главным судьей Джелладин? Кто знает! Как бы то ни было, Джелладин, ходячий сборник форм и



образцов, ежедневно посещал кади Ахмета, ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов.

— Какой же помощи ты ждешь от меня, Махмуд? — спросил Джелладин.

Махмуд сказал:

— Я хотел бы прочесть свои стихи перед лицом халифа, да будет благословенно имя его!

— Так. Да будет благословенно!

Джелладин проговорил:

— Махмуд! Не считаешь ли ты нужным прочесть вначале свои стихи перед моим лицом? Твои стихи, я знаю, излагают закон правых. Кто же лучше меня толкует Закон?

Махмуд, огорченный своей первой ссорой с подругой, думал, что не сможет с должным чувством прочесть свои стихи, призывающие к битве против Византии. Оказалось, что ссора не помешала пылу чтения, а придала ему большую силу.

Джелладин, обдумывая стихи, смотрел в пол. Кади Ахмет улыбался, щекоча рыжей бордой свой нос. Он сказал:

— Мило. Очень мило. Мне представилось, что это стихи не об усмирении Византии, а о важности усмирения возлюбленной. И не лучше ли отбросить Византию и оставить возлюбленную, которой у тебя, Махмуд, еще нет, но которая придет, если ты будешь по-прежнему с таким совершенством сочинять. Что же касается халифа, то ему теперь не до стихов. Эдесса! Святыня!.. У халифа, насколько мне сейчас известно, слабый и частый пульс, и, кроме того, халиф жалуется, — да будет благословенно имя его! — что его мучают мурашки на спине и зуд в пятках. По-моему, он

чересчур много кушает дынь, а дыни к весне, уже теряя свою целебность, вызывают лихорадку.

— Беззаконно так низко говорить о халифе! — торжественно провозгласил Джелладин своим воспитывающим голосом, один звук которого напоминал формат какой-то толстой книги законов. Даже в обсуждении болезни халифа должна проявляться сдержанность.

Он встал.

— Махмуд, при случае я сообщу твои стихи визирю. Я их запомнил, у меня отличная память. Тебе нужно, правда, внести кое-какие вставки, необходимые с точки зрения Закона. Зайди ко мне завтра, я тебе их сообщу. Возможно, стихи твои визирь передаст халифу. Другого пути нет. Стихи, как и тексты Закона, идут по соответствующим ступенькам.

Махмуд сказал:

— Я хотел спросить еще: что такое эдесская святыня и как могло случиться, что мусульмане и христиане чтут ее равно?

Джелладин, остановившись в дверях, сказал:

— Предание, которое скоро халиф введет в форму Закона. На эту тему я рассчитываю сказать длинную речь в совете, созываемом визирем.

— Вернее сказать, предрассудок, — проговорил кади Ахмет. — Один из обаятельных предрассудков, которые так любит человечество. Чудо. Будучи мусульманином и кади, я допускаю чудеса. С ними легче жить. И потому чудес на земле много. Не удивляйся, Махмуд, нерукотворному убрусу, или мандилии, как называют эту картину византийцы. Я слышал, например, что в Индии на скале имеется

отпечаток ступни некоего пророка Будды. Отпечаток этот цел и поныне.

Он вздохнул и продолжал, ласково глядя на Джелладина, который высказывал нетерпение:

— Чудес много, и всего чудеснее моя жена в полнолуние, хотя я и устаю на другой день. Именно сегодня мне предстоит встреча с ней. Она, когда появляется полная луна, начинает испытывать ко мне благосклонность. Надо думать, родительница зачала ее при полной луне, и жена моя, вам это известно, наверное, тщетно добивается от меня продолжения нашего рода...

Джелладин прервал его, торопясь к своим свиткам:

— Аллах вас наказывает, кади, за беззаконие, не давая вам продолжения рода!

Он скрылся, а кади продолжал:

— Скорее всего, аллах заботится о моем спокойствии. По слабости своей я отдал бы своего сына на воспитание к Джелладину, а этот ученый в преподавании слишком любит ускоренные переходы, подобные военным переходам. Дорога Закона — суха, камениста, раскалена. Не будем торопиться.

## XVI

Кади Ахмет сказал:

— Возьми ступку, Махмуд, и потолки кофе, он уже прожарен. У тебя сильные руки, а мне нужно беречься к сегодняшней встрече с женой.

Глядя, как Махмуд ловко толчет кофе в каменной ступке, кади говорил:

— Вернемся к твоей просьбе, мой милый

поэт. Завтра, повторяю, я буду усталым, — годы, поэт, годы! — и мне вряд ли захочется говорить об эдесской святыне перед приехавшим эмиром и нашим почтенным визирем. Халиф, да будет тебе известно, не принял эдесского эмира. Почему? Халиф знает, что он делает, и пока он не сказал нам своих дум, нам незачем о них догадываться. Завтра поэтому визирь и собирает нас, чтобы в присутствии эмира Эдессы обсудить в сильнейшей степени затруднительное положение с эдесским чудом, именуемым убрус или, чаще всего, мандилия. Чудеса приятны, но с ними столько хлопот и усталости! Аллах, я заболтался, и ты столько успел натолочь кофе, что мне его хватит на месяц, а он выдыхается. Сыпь сюда!

Он подставил ему кожаный мешочек для кофе и глядя, как запашистый коричневый порошок тонкой струей льется в мешок, говорил:

— Итак, я буду усталым, как луна на ущербе. От усталости скажешь глупости. Бездельники вдобавок извратят смысл слова. И пищеварение твое испорчено на неделю. А в пятьдесят лет весьма необходимо заботиться о желудке, Махмуд! Поэтому я с удовольствием передам тебе мои соображения, Махмуд. Ты соединишь их со своими, — получится убедительно, красиво. Два мешка всегда лучше, чем один.

— И я могу читать стихи?

— Стихи? Избави тебя аллах от стихов! Кто же читает стихи на государственном совещании, да еще по такому сложному делу, как эдесская святыня? Тебе нужно, чтоб на тебя обратили внимание. Визирь уже знает о твоих ножах. Теперь он узнает о твоём уме.

ные говорить, которым ты обладаешь, как я заметил давно. Ну а затем придут стихи. Джелладин прав — надо помнить о ступеньках!

Он отложил мешочек с кофе в сторону, достал кофейник и попросил Махмуда раздуть угли в жаровне:

— Я все забочусь, видишь ли, о том, чтоб у меня было поменьше усталости. Но впрочем, что такое жизнь, если в ней не будет усталости? Получится сплошная беготня! Я верю в чудеса и думаю, что, возможно, ты, Махмуд, получишь когда-нибудь командование кораблем, хотя ты совершенно не знаком с морским делом. Но, аллах, мало ли мы знали адмиралов, которые, получив командование флотом, именно в тот момент впервые вступали на корабль. И всего удивительней — они побеждали! А ты, Махмуд, хоть знаешь поэзию, что для командира корабля имеет немаловажное значение. Таким образом, я считаю, что есть вероятность рассчитывать тебе и на штурм Константинополя. Кстати, скажи, Махмуд, что ты будешь делать в Константинополе, когда войдешь туда?

— Я сожгу его!

Кади вздохнул:

— Вот так поступают все влюбленные. Сначала они добиваются любви, а затем, добившись, сжигают ее. Один только я постоянен, хотя, признаюсь, очень устаю в дни полнолуния. Что поделаешь! Старуха моя толста и тепла, и мне было бы жаль сжигать ее. Это обстоятельство я тоже отношу к области чудес.

Кофе сварился. Кади Ахмет налил две чашечки. Они неторопливо выпили, рассу-

дая об эдесской святыне, а затем кади зевнул и сказал:

— Мне нужно поспать перед вечером. Прошу тебя не обижаться и хорошо запомнить мои слова об эдесской святыне, которые я тебе советую сказать завтра. Что главное? В таких запутанных делах, как багдадские, лучше терпимости нет ничего. Джелладин, если рассуждать по совести, недопустимо омерзителен. Мое мнение — святыню надо удержать в Эдессе, она связывает и христиан и арабов вместе, иначе они поссорятся. А христиан у нас много. — И, потягиваясь, он добавил: — И это самые кляузные люди из всех, кого я видел на суде.

Он дотронулся до его щеки своей медной бородой и быстрой, резвой своей походкой подошел к ковру, поправил подушки, лег и немедленно уснул.

## XVII

Когда Махмуд вернулся домой, Даждя подметала пахучим веником из полыни комнату, где он имел обыкновение отдыхать. Рваные ковры были выбиты и починены. По углам комнаты стояли в больших горшках розы. Она отбросила веник и обняла его. Руки ее пахли розами и полынью. Он сказал:

— Забудь ссору. Я был глуп.

— Я давно простила тебя. Мне казалось без тебя, что ты ушел совсем. Где ты был?

Он сказал ей о совете у визиря и о том, что кади Ахмет предложил ему говорить.

— А свои мысли ты сказал ему?

— Он меня о них не спрашивал.

— Лень! Но насколько важно для тебя,

что ты скажешь визирю, настолько же важно, чтоб визирь захотел выслушать тебя.

— Он захочет!

— Захочет, если ты и в безмолвии своем покажешь ему себя умным.

— Как же я безмолвно могу показать себя умным?

— Это называется придворным поведением. У нашего князя Игоря тоже есть свой визирь. Он часто посещал наш дом, и я беседовала... наш визирь умен. Ваш, мне думается, похож на него. Слушай... Нет, вначале поговорим об эдесской святыне. Отдавать ее, по-твоему, или нет?

— Никогда!

— Твое мнение и мнение кади Ахмета сходятся?

— Да.

— Понятно, что ты не мог сказать ему своего мнения, потому что своего у тебя и не было.

— Я имею свое мнение!

— Какое же?

— Отдать святыню — невозможно!

— Ты только что говорил, что это мнение кади Ахмета, и, наверное, Джелладина, и вообще всех ученых дураков. Ты не в счет, потому что ты мало учен. А я училась в Киеве кое-чему, и, быть может, большему, чем твои ученые дураки, и их хорошо понимаю. Итак, не отдавать? Допустим — не отдавать.

Она помолчала, пристально глядя в глаза Махмуду, а затем сказала:

— Тебе известно, что на багдадской границе по-прежнему стоит домestik схол Иоани со своими войсками?

— Да.

— И тебе, быть может, известно, что князь Игорь за три прошедших года после последнего похода на Византию сильно вооружился? И что он опять пойдет на Византию?

— Допустим.

— Допустим. Также можно допустить, что domestика схол Иоанна уведут с багдадской границы против князя Игоря, если византийцы почувствуют, что Багдад слаб?

— Да, да!..

— И теперь-то, несомненно, князь Игорь разобьет domestика схол Иоанна! И мы с тобой будем пить вино из черепа Иоанна! И я буду петь песню... Слушай.

Она вполголоса стала напевать. Слова песни были непонятны, но мотив ее говорил о торжестве возвращения домой. Она пела и одной рукой била в воздух, словно в руке ее был тяжелый молоток, в другой — щит, а перед нею высились очертания Золотых Ворот!

Не допев песни, она сказала:

— Но если domestик схол Иоанн не покинет вашей границы, нам трудно будет с тобой нанести византийцам поражение. Нам, багдадцам!

Он поцеловал ее в губы. Отшатнувшись, она сказала шутливо:

— Я же язычница! Кого ты целуешь? — И добавила: — Не кажется ли тебе, что, требуя эдесскую святыню, византийцы испытывают наши силы и поход Игоря уже начался? Значит, вам сейчас выгодно показать византийцам вашу слабость. Халиф у вас — человек превосходного ума. Выскажи ему то, что он думает, и он выслушает твои стихи.

— Что же он думает?



— Халиф думает, что сейчас полезно показать византийцам свою мнимую слабость. Халиф думает, что Багдад должен отдать византийцам эдесскую святыню, что полезно озлобить Багдад этим грабежом. Отдача святыни не рассорит, а соединит багдадских мусульман и христиан. Они понимают, что после этой святыни византийцы могут потребовать и жен их, и детей... Что ты на это скажешь, Махмуд?

Махмуд молчал. Он согласился с ее доводами. Он пробормотал, уступая:

— Но честь Багдада...

— Тебе дороже честь Багдада, чуть-чуть поколебленная, или победа над византийцами и череп domestика схол Иоанна, отделанный в виде чаши?

Помолчав, он воскликнул:

— Откуда в тебе столько ума и лукавства?

— Я — женщина, — смеясь, ответила она. И добавила: — А теперь, позволь, я расскажу тебе, как поступить, чтоб визирь обратился к тебе с предложением речи.

## XVIII

В полдень кади Ахмет верхом на своем муле приближался к дворцу визиря. Мул, несмотря на свой пожилой возраст, подобно хозяину, был любопытен: он часто останавливался и осматривался. Кади не торопил мула. Люди заблуждаются, когда говорят, что куда-то опаздывают. Никогда и никуда нельзя опоздать. Горести везде найдут вас, а счастье — совершенная случайность.

Махмуд шел рядом, ведя за повод мула.

На площади перед дворцом они увидели множество съехавшихся всадников, слуг и мальчишек. Продавцы воды и сладостей выкрикивали цены. Кади сказал:

— Я истинно чувствую усталость: полнолуние в моем возрасте вредно. Мне хочется выпить, а баклажка моя пуста. К сожалению, я не вижу ни одного знакомого торговца, продающего тайком нужный мне настой. Неужели я их всех успел упрятать в тюрьму? Весьма жаль, если так.

Они подошли к воротам, чтобы через них вступить во двор и подняться по лестнице, предназначенной для бедных и скромных посетителей. По ту сторону ворот, в деревянной клетке, сидел, для примера другим, какой-то мудрец, ложно толковавший Коран. Он выл от голода и болезней, и кади Ахмет сказал, направляясь к нему:

— Печально лишать визиря удовольствия слышать эти вопли, но пусть, если ему нравятся вопли, прогуляется он по окраинам Багдада. Он много сидит, а прогулки рекомендуются врачами. Кроме того, конечно, я свершаю, как судья, беззаконие, кормя этого негодяя. Но я слаб, и в подобных случаях мне мерещится клетка, которую для меня сколачивает Джелладин, и мне делается стыдно, что я не помогаю самому себе.

И он сунул в клетку мудреца кусок лепешки, которую держал за пазухой, так как знал, что за столом визиря, если даже кади и пригласят к нему, он получит лишь воду для мытья рук.

Дворец визиря примыкал своей оградой к дворцу халифа. Дворец халифа был из розового плотного камня, дворец визиря — из зе-

леноватого и порыхлей. Все это знаменовало собой, по замыслу архитектора, цветущую розу и листву, поддерживающую розу. Дворцы разделял обширный сад с дорожками, посыпанными редкостным черным песком, с лужайками, фонтанами и бассейнами. В воде плавали диковинные рыбы, а на лужайках бродили прирученные дикие животные.

Когда кади и поэт проходили мимо евнухов и невольников во дворец, то, несмотря на то что они поднимались по самой бедной лестнице, слуги с безмолвным неодобрением оглядывали их жалкие одежды. Махмуд по молодости застыдился. Кади Ахмет заметил это и сказал:

— В жизни, как и на войне, важно, чтоб хорошо прикрывалось главное укрепление. В данном случае — ум. Ты не страдай, поэт. Твои внутренние одежды блистательнее одежд любого из этих блюдолизов. Впрочем, впоследствии, одевшись сам в блистательные одежды, ты с удовольствием вспомнишь свои страдания на этой лестнице бедных. Но тогда твои внутренние одежды, к сожалению, будут бедней.

В зале совета они были усажены в пятом ряду, позади богатых торговцев и видных мастеров оружия, сухопутного и морского снаряжения. Впереди всех сидел Джелладин. Законовед, вымытый, вычищенный, глядел вперед со свирепым видом, готовый во имя Закона, подобно псу, стерегущему отару овец, броситься с воем навстречу любой опасности. Законовед не видал никого и ничего, кроме дверей, через которые должен был войти ви-зирь. Тем не менее кади раскланялся с ним и сказал:

— Вежливость — большая обуза. Она мешает видеть мир в истинном свете. Но это, пожалуй, и лучше. Когда имеешь возможность, вроде меня, часто судить людей за пустяки, надо хоть вежливостью исправить вздор, который ты порешь.

Знакомый мастер морских лодок, услышав резкий голос кади, обернулся к нему и озабоченно спросил, почему рабы нынче столь малосильны. Вот он покупает в течение года уже четвертого раба, и все они страдают желудком и малокровием! Он разорится. Ему самому приходится сталкивать тяжелые лодки в воду, это унижает его достоинство, отпугивает покупателей!

И мастер лодок с соболезнаванием осведомился у Махмуда: жива ль их белая невольница, которую он отговаривал покупать, а госпожа Бэкдыль все же купила. И ему стало неприятно, когда Махмуд живо сказал ему, что девушка здорова, отлично трудится и все ею довольны. Тогда торговец осведомился, жидкой или твердой пищей они кормят невольницу и дают ли ей рыбу. Прошел слух, что злой волшебник Аббикон, насланный византийцами, портит в реках и море рыбу и что именно поэтому питающиеся рыбой ослабели.

Кади Ахмет сказал:

— Во-первых, Аббикон не волшебник, а лишь злой дух, присылаемый неким волшебником Бади каждые семь лет для ловли рыбы. Последний раз он был в наших водах четыре года назад, и сейчас ему здесь делать нечего. Во-вторых, рекомендую вам давать рабам впятеро больше рыбы, чем вы даете, и тогда никакой волшебник или злой дух

не ослабит их. Вообще я заметил, что люди довольно легко справляются с волшебниками или злыми духами и гораздо трудней с самими собою. Я могу вам рассказать совершенно достоверную историю о волшебнике Бади...

Но тут вошли стражи, за ними чиновник, который громко прокричал о приближении визиря и глубокоуважаемого гостя его, эмира Эдессы, достопочтенного Омара ал-Бараби-Сагайн.

Визирь медленно нес на тоненьких ножках свою большую желто-серую яйцевидную голову, старавшуюся изобразить уважение к гостю. Гость, попадая в шаг визирю, семенил за ним толстыми ногами, и маленькая властная головка его, круглая, с густыми черными бровями, часто вздрагивала. Эмиру казалось подозрительным, что халиф так долго не принимает его, и он боялся узнать по лицам законовевов и кади свою судьбу. Эмир приехал в Багдад, рассчитывая свалить на плечи халифа как религиозной главы ислама всю ответственность за передачу эдесской святыни византийцам. И эмира злило, что его принимает визирь, которого халиф всегда может сменить, утверждая, что по глупому приказанию визиря передана святыня.

## ХІХ

Визирь сказал:

— Законоведы и судьи! Халиф — да будет благословенно имя его! — повелел мне спросить вас: отдавать или нет великую святыню Эдессы, так называемый убрус, или мандилию пророка Иссы. Византийский император в обмен клятвенно обязуется отвести свои

войска от стен Эдессы, вернуть нам три тысячи пленных, а за понесенные нами в войне убытки выплатить немедленно двенадцать тысяч серебряных монет. И, разумеется, заключить вечный мир.

Законоведы и кади задумались, стараясь угадать то, чего хотят халиф и визирь. «Великая святыня» — значит, раз великая — отдавать нельзя! С другой стороны, слова «вечный мир» визирь произнес без иронии. Значит, надо отдать. Но слово «клятвенно» он, несомненно, произнес с усмешкой. Значит, нельзя отдавать?!

Встал Джелладин, быть может, единственный, кто не вдумывался в затаенный смысл слов визиря и кто пришел на совет с готовой речью. Выпрямляясь в воздухе, как пес во время прыжка, он заговорил. Он говорил долго и обстоятельно, подтверждая свои слова изречениями из Корана.

Прежде всего Джелладин разъяснил собранию, что убрус, не будучи *законной* святыней, вследствие ложно толкуемого предания, является тем не менее *святыней*, поскольку ей поклонялись много веков мусульмане. Стало быть, эдесский убрус — Закон, и мы его чтим! Затем Джелладин перешел к требованиям византийского императора. Они *незаконны!* Святыня принадлежит Эдессе, и в продолжение веков *никогда* византийский император не требовал ее, тем самым признавая законность пребывания ее в Эдессе. И честь ислама *никогда*, а сейчас тем более, не позволяла и не позволит признавать требования императора Константина осуществимыми. Нельзя желания византийцев принимать как закон, потому что, принимая их как закон, мы

должны и самих византийцев принять как друзей, а 5-я сура Корана говорит: «Тот, кто примет христиан за друзей, кончит сходством с ними. И тогда аллах не будет путеводителем нечестивых!»

— Нам путеводитель аллах и Магомет, пророк его, начертавший эти слова в Коране. Коран есть Закон, и Закон *говорит*: эдесскую святыню нельзя передавать византийскому императору! — заключил торжественно Джелладин. — И эти слова, с которыми, мне думается, согласится все собрание, я прошу вас, уважаемый визирь, передать могучему халифу, да будет благословенно имя его!

Визирь почтительно наклонил голову, и некоторым показалось, что он согласен со словами Джелладина.

Тогда встал другой законовед, рослый и красивый старик в зеленом парчовом одеянии. Несмотря на свой внушительный вид, он не привел иных доводов, чем те, которые высказал Джелладин, и визирь попросил его говорить короче. Затем говорил третий, размахивая свитком Закона с таким убеждением, что свиток упал на ковер и кое-кто рассмеялся.

Визирь зевнул, втягивая щеки далеко внутрь.

Лицо Махмуда не потому, что он добивался этого, а потому, что много и долго спорил о том с подругой, невольно следовало за выражением лица визиря, и, когда визирь зевнул, Махмуд тоже зевнул и даже потянулся.

Эти повороты тела, эти изгибы лица и даже излучины одежды Махмуда — все показывало визирю на какую-то взаимность между ним, визирем, и этим молодым человеком

с широкими, как бы закоптелыми руками, почтительно склонявшимся к кади Ахмету. «Да, это, пожалуй, тот оружейник и поэт!» — подумал визирь, и он еще раз поглядел в горячие, упрямые глаза молодого человека. Уловив взор визиря, кади Ахмет полузакрыв веки, словно задремав; и, внутренне улыбнувшись этой невинной хитрости, визирь, выслушавший к тому времени четвертого и пятого законоведа, которые говорили приблизительно то же, что и Джелладин, сказал:

— Говори о ты, молодой человек, сидящий рядом с кади Ахметом. Халифу будет любопытно знать, что думает багдадская молодежь об эдесской святыне. — И, желая ободрить Махмуда, визирь добавил: — Говори смело.

Визирь любил гулкие и звонкие голоса, и его голос казался ему самому чрезвычайно гулким. Поэтому визирь поразовался, когда голос Махмуда наполнил не только зал совета, но и разлился по всем лестницам.

Махмуд говорил:

— Да будет благословенно имя халифа! Неподатливым, норовистым, строптивым врагам ислама — смерть!.. Да будет то, что я выскажу, понято в истине, а что будет не понято, пусть не будет рассмотрено как намеренное умолчание, а лишь как обмолвка моя, человека неопытного в совете и впервые представшего перед светлые очи нашего уважаемого визиря. Благодарение аллаху, смуты в халифате залечиваются. Но их целиком залечит хорошая победа над неверными. Нам недолго ждать этой победы. Однако, к сожалению, надо признать, что победу эту мы не получим под прославленными воротами Эдес-



сы, потому что город расслаблен плохим руководством, трусостью отдельных военачальников и — я не побоюсь сказать — явным предательством! Да, я вижу предательство, хотя еще, по неопытности своей, не вижу лица предателя. Зато, я уверен, это лицо видит халиф, да будет прославлено имя его!

Голос Махмуда гремел.

Визирь уже не предавался зевоте. Положив тонкие руки на острые колена, он наклонился вперед и рассматривал Махмуда. Щеки визиря надулись и были розовы, как щеки дремавшего кади Ахмета. Визирь, с легкостью принимавший настроения халифа, как гипс принимает очертания статуи, делается слепком ее, с радостью и одобрением смотрел на молодой гипс, из которого скоро отольются замыслы халифа. «Только бы он не вздумал читать стихи о войне с Византией, — мелькнуло в голове визиря. — Зачем говорить о войне, когда мы говорим о мире!»

Лица законоведов побледнели. Лишь Джелладин ничего еще не понимал, злясь на кади Ахмета. Зачем кади, обжорливый дурак, привел сюда этого молодого самоуверенного болтуна? И над участью его думал Джелладин! И ему преподал он начатки Закона?!

Визирь перевел глаза на лица законоведов. Бледные? А не подозревали ли вы или даже знали о переговорах эмира Эдессы с проходимцем Али, «мечом династии»?

## XX

— Багдад нанесет поражение врагу. Ислам покроет их города кровью, а сердца позором, как штукатур покрывает здание той

краской, какой хочет! И мы уничтожим всех, кто, подобно преступнику Али, осмелившемуся назвать себя «мечом династии», мешает нам в создании победы. Но нужно быть здоровым. Поражение главного врага придет некоторое время спустя после того, как мы *отдадим* эдесскую святыню. Святыню *нужно* отдать. Сегодня нет другого средства бороться с византийцами и получить мир и многочисленных арабских пленных, которых они обещали вернуть и вернут несомненно, так как им *тоже* необходим мир с Багдадом. Мне кажется, что на Византию идут славяне, князь Игорь... Мы же, заключив мир, получив наших пленных и византийские деньги, сможем вооружиться...

Визирь снисходительно прервал Махмуда:

— Ты слишком много говоришь о вооружении.

— Я — оружейник, — сказал Махмуд. — Я, о визирь, кую ножи.

— А, это ты куешь хорошие ножи, которые принес мне кади Ахмет? Продолжай же, кующий ножи.

Махмуд сказал:

— Утверждают, что убрус, или мандилия, — несокрушимая защита Эдессы. Но эта защита *не защитила* Эдессы, и мы вынуждены вести довольно постыдные переговоры с византийцами. Зачем же нам держать святыню, которая, будучи защитой, не защищает? Не лучше ли вернуть ее византийцам, тем самым усыпляя их настороженность. Пусть она теперь «защищает» их! Отдать не позволяет нам честь Багдада? А держать при себе святыню, отказывающуюся нас защищать, —

честь? Она смеется над нами!.. Весьма полезен этот поступок будет и для греков-христиан, подданных халифа, и тех, что византийского толка, и тех, что несторианского. Они, увидав, что убрус безропотно переходит к византийцам и не защищает Эдессы, не замедлят, разочаровавшись в своей религии, перейти в истинную, в ислам. Говорят нам, что мусульмане чтут убрус. А зачем? Вовсе не нужно замыкать дом на десяток замков, достаточно иметь один, но хороший. Коран — вот замок ислама! Истый мусульманин в иных святынях не нуждается. Именно силою и правдою Корана будет взят Константинополь, и, когда он будет сожжен, на пепле его халифу поднесут золотой поднос, чтоб он выпил чашку кофе и отдохнул от трудов своих!.. Я сказал все, о достопочтенный визирь.

Махмуд поклонился визирю, эмиру, всем законоведам и кади, а затем особо поклонился своим учителям — кади Ахмету и Джелладину. Кади Ахмет сделал вид, что проснулся. Его багровое лицо и рыжая борода лоснились от удовольствия. Ему казалось, что Махмуд смело и горячо передал собранию как раз те мысли, которые хотел высказать и сам кади. Кади Ахмет забыл вчерашнее свое мнение, покоренный остроумным софизмом Махмуда относительно «чести Багдада» и «чести эдесской святыни». Такая фраза стоит многих святынь!

Джелладин негодовал по-прежнему. Он встал и прокричал:

— Закон открыл глаза Махмуду. Он прав в части преследования преступников, благодаря которым наши войска потерпели пора-

жение. И да покарает закон предателей, которые вещь накладного золота выдают за золотую. Что же касается передачи святыни византийцам, он говорит неправильно, и не слушай его, о визирь! По молодости лет он еще не знает всего Закона!..

— Что еще скажут законоведы и кади? — спросил визирь.

Законоведы и кади сказали, что Махмуд прав и что аллах осветил его разум.

— Тогда мы поблагодарим аллаха, — сказал визирь, — и пойдем каждый к своему делу.

И когда все ушли, визирь сел на коня и поехал во дворец халифа.

Два дня спустя было обнародовано решение халифа о передаче эдесской святыни византийцам. В иных обстоятельствах это решение обрадовало бы эмира Эдессы, но тут он опечалился: багдадские врачи внезапно нашли у него какую-то опасную болезнь, которую можно излечить лишь в Багдаде. И визирь приказал ему не покидать столицу.

Визирь призвал Джелладина, кади Ахмета, Махмуда и сказал им:

— Джелладин, знаток Закона! Ты поедешь передавать византийцам эдесскую святыню. Ты прост и честен и хотя ошибся, но ты все-таки лучше всех знаешь Закон. Тебя посылает халиф.

— Халиф — Закон, и да будет благословен Закон, — сказал Джелладин. — Я всегда повинуюсь Закону.

— Мы так и думали, — проговорил визирь. — И нам кажется, ты лучше других сможешь защищать перед византийцами честь

Багдада. Чтоб показать наше миролюбие, ты будешь сопровождать эдесскую святыню до Константинополя. Мы не посылаем с тобой грамот к императору, потому что не знаем, примет ли он тебя. Но если примет, передай ему нашу дружбу.

Обращаясь к кади Ахмету и Махмуду, визирь сказал:

— Поедет также кади Ахмет, он наблюдателен, любопытен и сможет увидеть в Константинополе то, что полезно перенять Багдаду. Кроме того, он весел, знает толк в кушаньях, и он усладит ваше путешествие. Начальником вашего конвоя будет оружейник Махмуд. Идите, и да будет с вами благословение халифа!

Они пошли. Визирь, подумав, сказал:

— Ты, Джелладин, останься. Ты — первый среди посланцев халифа, и мне нужно передать тебе деньги и одежду, потому что вы все честны и оттого плохо одеты, и византийцы могут подумать о вас дурно. Махмуд! У тебя византийцы сожгли отца?

— Сожгли, о визирь. И мое сердце...

— Понимаю, понимаю. Чувство мести законно, и сам пророк настаивал на этом. Но нужно считаться и с государственным ображением. Кади Ахмет, знаком ли ты с мифологией древних и читал ли ты Аристотеля?

Кади Ахмет осторожно сказал:

— Давно когда-то и почти забыл, о визирь.

— Надеюсь, однако, ты сможешь объяснить своему ученику, что Пегас древних уже не обгоняет коня халифа.

— Так, визирь, так!

Когда они вышли из дворца, Махмуд спросил у кади:

— Кто такой Пегас? Что он говорил?

— Он хотел сказать, что воинственные стихи рано или поздно будут петься. Как ни плотны и долголетни были бы слои мира, под ними всегда лежит война. А военная песня облегчает войну, ведет напрямик к врагу, и поэт представляется воином, совлекающим доспехи с врага. Кто же совлекающий доспехи не будет прославлен? Будь уверен, Махмуд, что к славе ведут окольные и не различимые во мгле времени пути. Таково мнение визиря об Аристотеле.

— А Пегас?

— Пегас — конь, которого тебе даст визирь. На нем ты въедешь в Константинополь. Это ретивый конь, но он любит, чаще всего не к месту, воинственно ржать. Бей его чаще по морде, и он не станет особенно беспокоить тебя. — И кади, не без грусти, добавил: — У нас слишком большое различие в возрасте. Иначе я б рассказал тебе о преимуществе любовной песни перед воинственной, и, быть может, ты, вообразив, что оставляешь в Багдаде нежную возлюбленную, спел бы нам что-то очень удивительное.

Махмуд смолчал. Песня эта теснилась у него на сердце. И на самом деле, не с рыжим же кади Ахметом делиться ею?

Он пропел ее в тот вечер своей возлюбленной.

Он пел о судьбе, кривой, как его ножи. И пел о семи розах на рукоятке. Это семь дней недели, в которые он непрерывно стра-

дает по Ней. Пел он о трех лепестках на лезвии. Не напоминают ли они Тебе, о милая, клочковатые облака на небе, которые уходят, уходят... Как ни крива судьба, но перед нашей любовью она очистится, словно лезвие. Исчезающие туманы разлуки не напомнят ли Тебе когда-нибудь, когда мы всегда будем вместе, эти уходящие клочковатые облака? Я приду к Тебе! Я приду к Тебе, милая.

Конь его был далеко за Багдадом, когда Даждья вышла на крышу его дома и, глядя на запад, запела эту песню. Багдад спал. Но шел мимо дома оружейника один влюбленный. И он услышал песню, и она пронзила его сердце, и он запомнил ее, и пошел к своим друзьям, и поделился с ними своей находкой. Он исполнил песню, и друзья одобрили ее. Обнаруживший песню был скромным, он говорил, что в устах неизвестной певицы эта песня во сто крат великолепней. На другую ночь друзья пошли искать певицу. Влюбленный забыл улицу и дом. Друзья шли и в пути пели песню, надеясь, что эхо приведет их туда, где рождается этот переливчатый звук. И в поисках дома, с крыши которого неслась чудесно-тоскливая песня, они обошли весь Багдад, и когда остановились, то услышали, что весь Багдад поет эту песню, потому что весь Багдад услышал ее. Был конец весны, а любовь в конце весны особенно чутка. Кроме того, город Багдад обширен, и обширна любовь его, и многие хотели прийти к Ней, а Ее не было.

— «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе!» — пел Багдад.

Халиф проснулся на рассвете, разбуженный этой песней. Он спал хорошо, чувство-

вал себя бодрым, даже молотцеватым. Ему подали серебряный кувшин и таз для омовения. Радостно содрогаясь от холодной воды и слыша в кустах сада щебетание и лепет птиц, а за оградой эту песню, он спросил, глядя на светло-лиловое, прохладное небо и редкие облачка на востоке, схожие с цветками гвоздики:

— Я не разберу слов. Что они поют?

Ему объяснили. Он улыбнулся благосклонно и сказал:

— Дети. Ну что ж, пусть поют.

## XXII

Жарким летом 944 года бесконечный лес копий князя Игоря двинулся, шурша сухой травой, по днепровским степям. Войска шли к Дунаю, оставляя позади себя широкие пыльные дороги. Тут были люди великого племени русь с широкими, тяжелыми мечами; рослые всадники племени полян с круглыми белыми щитами, на которых были охрой нарисованы змеи; приземистые, быстроногие тиверцы и белобрысые кривичи, которых никто не мог победить, когда нужно было драться внутри укреплений. Кроме того, шли нанятые князем Игорем гладколицые, с тонкими бровями печенеги.

А по Днепру спускались ладьи, и когда они вышли в Черное море, они покрыли его, как покрывают ковром пол. Впереди, сотрясая море и пугая волны, плыла огромная ладья князя Игоря. Она была украшена золоченой статуей Перуна, а по борту узором из серебряных пересекающихся линий. Рядом с Перуном стоял большой щит, сверху донизу уни-



занный золотыми бляшками. Время от времени князь Игорь, высокий, длиннолицый, с проседью на висках, подходил к щиту и поднимал его, словно готовясь поднять его еще выше, к цоколю арки Золотых Ворот.

И византийцы содрогнулись. Зажглись толстые свечи перед иконами, дым ладана наполнил храмы, неистовым всеобщим бдением молились монастыри, и сам трудолюбивый император Константин отложил разрисовку киноварью и золотом заглавных букв к гигантским сборникам «Житий святых», которые должны были состоять из ста томов, изложенных красивым слогом ученого мужа Симеона Метафраста. Император встал на молитву, высказав сильное желание, чтобы в Константинополь для спасения столицы возможно скорее прибыла эдесская святыня и войска domestika схол Иоанна Каркуаса.

### XXIII

И в Эдессе была засуха и жара, и сады эдесские, славящиеся плодами, были бедны, так что цена на оливки поднялась, и жители жаловались, поражаясь своей скудости. Они объясняли бедствие тем, что их великая святыня покидает город. И никто из жителей не вышел навстречу посланникам халифа.

Джелладин, кади Ахмет и Махмуд долго стояли на высоких стенах городской крепости.

С крутых каменных стен видны были рвы, наполненные тухлой водой, в которой плавали трупы. По берегам рвов стояли вымазанные толстым слоем глины стенобитные машины византийцев. Машины были так высоки и громадны, что, казалось, до них невозможно бы-

ло дотянуться рукой. Возле машин на земле, в прикрытиях из циновок, утомленные зноем, спали византийские солдаты, и слышен был их безмятежный храп.

К посланцам халифа, на стены, пришел в сопровождении знатных прихожан эдесский епископ Павел, низенький лысый старичок с воспаленными глазами, говоривший хриплым басом. Поодаль от них шел епископ несторианского толка со своими священниками и дьяконами. Желладин принял их, сидя на бочке с древесной смолой.

Христиане были одеты нищенски, но разговор их изобилдовал обещаниями золота, и видно было, что они не лгут. Они выкупят арабских пленных! Они выплатят халифу те деньги, которые ему обещают византийцы, и в срок более быстрый. И это не дерзость или стремление отделаться словами, а вполне ясные предложения, которые они готовы осуществить хоть сегодня! В речах, задыхаясь от волнения, они делали частые остановки, и Махмуд дивовался на них, и ему хотелось посмотреть эту странную эдесскую святыню.

Желладин сидел непреклонный, довольно однообразно повторяя слова о Законе и законности всех распоряжений халифа. После долгих прений Желладин резко, от имени халифа, приказал выдать убрूस.

Епископ Павел воскликнул:

— Лучше закрыть глаза Эдессе, как покойнику, чем отдать икону!

И епископы, священники и миряне ушли не поклонившись.

Желладин приказал подать коня. Он направился в лагерь византийцев, чтоб сооб-

шить им решение халифа. Завтра убрус будет выдан.

Джелладин долго не возвращался. Был уже вечер, и Махмуду, начальнику конвоя, сообщили, что народ оцепил главный эдесский собор, устроил вокруг него возвышение из камней, перекрыл камнями центральные улицы города. Город теперь разделен на две части, и одна половина в руках восставших. Махмуда особенно взволновало, что мусульмане города помогают христианам оружием и таскают им камни.

Весь дрожа от волнения, Махмуд нашел кади Ахмета, который спал в прохладном месте погреба для вин. Махмуд сказал кади о восстании, которое он намерен немедленно подавить с ужасающей жестокостью. Он готовит своих воинов к атаке. Во имя халифа и Корана он приказал им не щадить никого! Он пылал от злобы и жажды сражения, и пот лился по его темному лицу.

Кади Ахмет выпил из своей баклажки, вытер шею мокрым полотенцем и сказал:

— Жизнь подобна дорогой гостинице, где за все нужно платить. И лучше было бы мне научить тебя спать на собрании у визиря, чем говорить блестящие речи. Впрочем, дело испортил не ты, а Джелладин. Вместо рыбы, которая переваривается желудком легко, он вздумал кормить народ дровами. Я предпочитаю, как и народ, рыбу. А также отговорки, которые похожи на рыб резвостью своего бега, легкостью в еде, и только идиот может подавиться их костью. Едем!

— Ты поедешь со мною сражаться? — спросил Махмуд.

— Нет, — кротко сказал кади. — Это ты

поедешь со мной, без оружия, и будешь смотреть, как я сражаюсь словом. Помни, что я судья и привык говорить в столице, а здесь глухая провинция.

Кади приказал заседлать своего мула, взял лепешку в руку и, жуя ее, направился к главной баррикаде восставших, к эдесскому собору.

Подъехав к баррикаде, он почтительно поклонился древнему зданию собора и, вызвав предводителя восстания епископа Павла, повел перед ним речь. Вначале он с глубоким почтением отозвался о святыне. Он никак не хотел порочить ее или презирать. Отнюдь! Он также не желает круто изменять взгляды восставших, и они, пожалуй, правы, что взялись за оружие. Он приехал только затем, чтобы напомнить восставшим о главном положении, которое они упустили из виду и которое он, кади Ахмет, глубоко чтит. Они забыли о существовании чуда, то есть о сущности эдесской святыни. *Чудо!* Чудес много, и они замечались неоднократно. Во-первых, в Эдессе много церквей, и в каждой из них имеется копия убруса. Не кажется ли вам, что *копия*, — а это будет чудо, — представится византийцам оригиналом? Копия убруса из второстепенной церкви, ночью, перейдет в главную, а отсюда, завтра, к византийцам. Во-вторых, если допустить, что византийцы увезут оригинал, то опять-таки нужно помнить о чуде. Эдесская святыня свершит чудо и сама возвратится домой, обратно в Эдессу! Неужели эдессцы так уж сомневаются в себе, что не могут умолить святыню вернуться обратно? Эдессцы, доблестные, отважные, показавшие чудеса в защите своей святыни! Эдес-

сцы, трупы которых наполняют рвы, окружающие город!.. И в-третьих, нужно принять во внимание и теперешнее положение города. Город разрезан на две части. Одна половина города будет драться с другой, стены будут обнажены, а византийцы что же, будут смотреть? Они начнут штурм, немедленно возьмут город и ограбят его так, как еще не грабил никто и никогда! И в-четвертых, есть одна замечательная, всегда победоносная вещь. Эта вещь называется — ожидание.

— Я прошу вас подумать об ожидании, — заключил кади Ахмет. — И я жду вашего ответа.

Он отъехал от баррикады, в тень платана, достал свою лепешку и начал ее есть. Когда он собрал с платка, разостланного на коленях, крошки и высыпал их в свой рот, он повернулся к баррикаде. Эдессцы разбирали ее. Он хлебнул из баклажки, чмокнул языком и сказал, обращаясь к Махмуду:

— Разве я был не прав, утверждая, что здесь глухой угол и что здесь нетрудно говорить? Они даже и не знают, что представляет собою истинный оратор! Здесь я мог бы пойти далеко вперед, не опасайся я лишней заботы.

#### XXIV

Джелладин вернулся в сопровождении Авраамия, епископа византийского города Самосата. Авраамий по распоряжению константинопольского патриарха должен был принять икону. Епископ, продолговатый и бледный, как гребок для мешания извести, был одет в широкие, украшенные камнями и золотом,

парчовые одежды. На голове его качалась митра, нагрудный знак горел драгоценностями, а жители Эдессы кляли его и смотрели на него с ненавистью, словно он совершил растрату общественной кассы.

Воины-рабы выстроились на площади, рассматривая отделанный крапчатым мрамором собор. Епископ Авраамий, громко читая молитвы, поднялся на ступени паперти и здесь остановился. Он стоял, клал крестное знамение и о чем-то думал. Затем, повернувшись к епископу Павлу, сказал, что ему было сейчас видение. Убрус находится не в этом соборе. Здесь лишь копия убруса. Эдессы спрятали подлинный убрус, но он найдет его. Видение укажет ему путь!

И Авраамий, сев на коня, поехал по улицам Эдессы. Он ехал, не спрашивая ни у кого дороги, хотя в городе был первый раз. И эдесский клир в глубокой горести шествовал за ним. Они подошли к храму, расположенному возле городского рынка. Авраамий опять поднялся на паперть и опять долго молчал, размышляя. И опять он сказал, что ему было видение и что в этом храме не подлинный убрус, а тоже, хотя и хорошая, но — копия. И он сказал, что видение направит его стопы дальше.

И все окружающие ужаснулись такой пронзительности. Ужаснулся вслух и Махмуд, сопровождавший шествие.

Кади Ахмет сказал:

— Несомненно, это ужасно. Но ужасно не потому, что видение, а потому, что у византийцев всюду прекрасные шпионы. Кроме того, у епископа прекрасная память, раз он, со слов шпиона, по памяти узнает дорогу. Впро-

чем, можно допустить, что шпион его, известный лишь ему, идет впереди нас, в толпе. Кроме того, епископ ужасно хороший мим, как и все византийцы, добавим. Единственно, что они наследовали от древних эллинов, — это отличную актерскую игру. В политике и в театре их следует опасаться.

Наконец в жалкой кладбищенской церкви епископ Авраамий обнаружил подлинный убрus. Византийцы возликовали, а жители Эдессы стали рыдать и бить себя в грудь и в голову. В арабов полетели камни. Один угодил Джелладину в плечо, а другой рассек Махмуду лоб. Кади Ахмет, перевязывая его, сказал:

— А в меня, хвала аллаху, камень не попал. Вы заплатили пошлину за проезд через ораторский мост, принадлежащий мне, и пошлина эта не велика.

Подали балдахин из серебряной парчи с золотыми кистями. Балдахин внесли в храм, и оттуда, с песнопениями, в облаках ладана, эдесская святыня направилась к воротам города, которые были распахнуты. На стенах Эдессы стояли жители, рыдая и крича. А за стенами, на равнине, распростерлись византийские воины, и стенобитные машины были пусты, потому что все византийское войско ползло на коленях к главным воротам.

Кади Ахмет сказал Махмуду:

— Если ты хочешь знать, что такое жизнь, взглядишь внимательно в эти стены и в эту равнину. Жители Эдессы плачут и стонут от горя. Византийские войска делают то же самое от радости. Мы же не понимаем ни того, ни другого. Мало того, мы не видим, а возможно, и не увидим, из-за чего одни радуются, а другие горюют. Рассуждая здраво, мы

вправе предполагать, что под балдахином вообще нет ничего.

— Что же тогда, кади, представляет из себя жизнь? Бессмыслицу?

— Грохочущий с гор поток, Махмуд, в котором нетрудно утонуть, если не научиться плавать.

Джелладин, оборачиваясь к ним, воскликнул:

— Ты учишь его безнравственности и пороку!

Кади Ахмет сказал:

— Я учу его хладнокровно задумываться над жизнью, быть справедливым, а также и страстным в чувствах. Тогда он не только переплывет поток, но сам будет создавать горные потоки.

К убрису вели раненых, слепых, калек и убогих. И слышны были крики, что уже появились первые исцеленные. Жители Эдессы, умоляя икону вернуться к ним, рыдали так, что казалось, стены города колеблются.

Кади Ахмет сказал:

— Вот я недавно говорил о чудесах. Но не удивительное ли чудо, Махмуд, что мы видим все это? И я предчувствую, что мы увидим еще более чудесные вещи. Я не хотел бы присутствовать при главном чуде, хотя именно я выдумал все: внезапный уход убриса из византийского войска и возвращение убриса в Эдессу. Мне хочется повидать Константинополь.

— Гнездо разврата и вместилище беззаконий? — спросил Джелладин.

— Определение, допустим, правильное. Константинополь — гнездо злых духов. Но разве для того, чтобы бороться со злыми ду-



хами, не нужно знать их силу и их возможности? Например, мне говорили, что у византийцев чудесное вино. Я охотно верю в это чудо и с удовольствием проверю его. Византийцы много пьют, а кто много пьет, тот, естественно, ищет лучший источник. Я не спорю, что Багдад имеет свои достоинства, но вино в нем отвратительное, и у меня всегда жжет под ложечкой, когда я пробую его, с тем чтобы узнать состав злого духа. И мне тогда делается тошно, точно уже наступило полнолуние...

Махмуд, думавший о чудесах, которые свершал убрус, спросил:

— Кади! Византийцы — неверные и нечестивые, подлежащие мукам и в этой жизни и в будущей. Как же аллах, — а чудеса, несомненно, свершает аллах, — как же он свершает их сейчас над неверными?

— Аллах свершает чудеса над неверными затем, чтобы ослабить их. Неверные в конце концов перестанут верить в свои силы, будут надеяться на чудо, и тогда верные, то есть мы, победят их. А нам, верующим, аллах свершает меньше чудес, чтоб мы не ослабли и верили в свои силы. Он открыл нам лишь Закон, что есть непрестанное чудо, и его вполне достаточно нам.

Джелладин воскликнул:

— Впервые в жизни ты высказал хорошую истину, кади!

— Но... — продолжал кади, кланяясь в сторону Джелладина со своего мула. — Но возможно, что главное чудо, по неисповедимым путям аллаха, заключается в том, что все это нам лишь мерещится. Эдесса, убрус, вот эти войска, сквозь которые мы сейчас

проезжаем и которые нас не замечают, кроме византийского чиновника, указывающего нам дорогу, и даже вот это персиковое дерево, на котором, из-за необычайной жары, так мало плодов. Я поверю в достоверность всего происходящего тогда лишь, когда попробую константинопольское вино. По-моему, нет ничего реальнее вина, хотя оно иногда и опьяняет. Но что такое опьянение? Состояние, в котором животное кажется человеком, а дурак — умным. В трезвой жизни подобное состояние случается урывками, а в пьяной — оно идет непрерывной полосой. Но что лучше: ухабы или полоса гладкой дороги? Дерево, покрытое цветами, или голые сучья зимой? Если персиковое дерево покрыто сплошь плодами, это вам кажется милым и реальным, а если я, пьяный, вижу весь мир, как персик, прекрасный, почему это вам не кажется реальностью из реальностей?

Джелладин плюнул через голову коня, и плевок его, как удар копыта, пал на землю так, что пыль встала столбом.

— Ты, кади, бродяга мыслей! — вскричал он. — И я горько раскаиваюсь, что только что похвалил тебя.

И он поехал вперед, чтоб не слышать кади Ахмета.

## XXV

Джелладин отъехал, а кади Ахмет продолжал говорить в том духе, высматривая в лагере византийцев какую-нибудь харчевню, где можно было бы закусить и выпить. Харчевни были закрыты. Все торговцы вышли встречать убрус. Кади Ахмет огорчился и сказал:

— Это печально. Неверные не должны быть столь ретивы в своей вере, которая есть туман и наваждение злого духа. Ведь получится таким образом, что мы до самого Константинополя будем питаться сухими лепешками и пить сырую воду, которая при жаре очень вредна. Я ожидал другого. И неужели у них другие торговцы, чем у нас?

После благодарственного молебствия в палатке византийского военачальника состоялся пир. Арабам в их палатку принесли обильную пищу, но так как византийцам было известно, что арабы не употребляют вина, то вина и не подали. Кади Ахмет отозвал стольника подальше и сказал ему:

— Дорогой! Путь до Константинополя далек. У меня старый и глупый мул, и я уже проверил, что, когда он не идет, ему полезно дать кружку вина.

Стольник удивился и сказал, что в таком случае византийцы дадут немедленно уважаемому посланцу молодого и крепкого на ноги мула.

Кади Ахмет сказал:

— Уже держась на этом муле двадцать лет, трудно слазить с него. Кроме того, сколько я потратил денег! Подумайте, в Багдаде поить мула вином! Когда я влезая на него, у меня такое чувство, будто подо мной мешок денег. А я человек бедный, и мне жаль расставаться с такими чувствами. Лучше дать ему вина, поскольку пророк нигде не запрещал употреблять мулу вино.

Стольник приказал подать вина. Но так как византийцы не знали, сколько же употребляет мул вина, то обратились к кади. Кади сделал удивленное лицо и сказал:

— Он, старый дурак, не видит разницы между водой и вином и пьет вина столько же, сколько и воды.

И ему принесли большой мех, и кади привязал его на спину мулу, позади седла. Кади прикрыл мех свисающим с плеч дорогим пепельно-серым плащом, выданным ему по приказу визиря. Когда фляжка была пуста, кади под плащом, ошупью наполнял ее и говорил, поднося ее к своей рыжей бороде:

— Это небольшое чудо, но оно приятно.

Мула же он водил сам поить, и византийцы, которым было выгодно видеть, что арабы пьянствуют, делали вид, что не замечают обмана.

Византийский военачальник прочел перед воротами Эдессы грамоту, «хрисовулл» императора Константина о вечном мире, передал арабских пленных и положенное количество серебряных монет, и византийские войска отошли от Эдессы.

Балдахин серебряной парчи с золотыми кистями двинулся к городу Самосату.

Арабские посланцы ехали в конце процессии. Между ними и византийцами наблюдалось такое расстояние, какое необходимо для того, чтобы улеглась пыль.

## XXVI

Влажная и плодоносная долина Евфрата была выжжена солнцем. Ореховые деревья, оливы и виноградники пожухли и поблекли. Кони и козы, тощие и жалкие, бродили, не находя пищи. Река была так мелка, что ее перешли вброд, не замочив колен. Однако поселения, надеющиеся на чудо дождя, которое им

принесет убрus, радостно выбегали навстречу процессии. Их широкие наивные глаза были наполнены слезами. Они дарили мясо и рыбу несшим икону и целовали следы ног священников.

Кади Ахмет сказал:

— Они неверные, и я должен бы желать им зла. Но мое сердце болит, глядя на эти несчастные нивы, и мне хочется молиться с ними о дожде.

Ночи были душные. Жаркая тьма обнимала землю. Сон не приходил. Так как они ехали по горестным местам, где, несомненно, орудовали злые духи и волшебники, то кади Ахмет, не боявшийся действий злых сил днем и даже насмежавшийся над ними, ночью ощущал страх и потребность защиты. Он будил начальника конвоя, и они покидали палатку.

Отовсюду из тьмы шли на них шорохи, трески и какое-то сухое быстрое шуршание, похожее на шаги. Кади узнавал во тьме очертания злого духа Аббикона, уничтожавшего рыб и зверей. Мерещился ему также волшебник Бади и его похотливая любовница Гозар, которые портят людей, насылая им судороги и ломоту в костях. Он видел и злого духа Фозуллу, безобразного, способного одним взглядом испепелить ум человека. Кади Ахмет вздыхал, прижимался к Махмуду, а тот хватался за меч. Кади поспешно читал суры Корана. Махмуд молился рядом с ним. Махмуд не видал ни злых духов, ни волшебников. Ему виделись синие глаза Дажды, и сердце его иступленно ныло, и ему хотелось домой, и он думал, что это злые духи показывают ему возлюбленную, чтобы он не выполнил приказания халифа и бежал к ней.

— Даже вино и то не помогает мне! — шептал кади.

Но приходило утро, и духи зла исчезали, и опять булькала влага в тыквенной бутылке кади, переливаясь в его горло. Улыбаясь, он говорил:

— Благодарю тебя за помощь, Махмуд. Я слаб, но счастлив, что слабость моя усиливает мне наслаждения утра.

В городе Самосате эдесская святыня оставалась несколько дней, пока не записаны были все чудеса, свершенные ею. Скорописцы, со слов исцелившихся, заносили на пергамент подробности болезней; свидетели, священники, врачи подтверждали их своей рукой и печатями, и курьеры мчались в Константинополь, чтобы доставить императору и патриарху эти драгоценные пергаменты. Записано было также, что, после того как убрус удалился из долины Евфрата, над всей долиной пронеслись обильные дожди.

Узнав об этом, кади Ахмет сказал:

— Есть и омерзительные чудеса, и из них самое омерзительное то, которое творят чиновники и блюдолизы.

## XXVII

Через несколько дней после ухода из Самосата они увидали горы и вступили в них. Они медленно поднимались по широкой каменной дороге, усеянной обломками желтых скал. Скалы поросли колючими серыми кустарниками. Монахи пели непрерывно и громко, утверждая, что ранним утром на звуки этого пения из серых кустарников в процессии приближались львы, чтобы увидеть и по-



клониться святыне. Одетые в грубо выделанные шкуры, дикие племена выстраивались на дороге. У ног их лежало оружие, и свирепые лица выражали покорность.

— Таких людей и такое оружие любопытно посмотреть, — говорил кади, стараясь приблизиться к диким племенам. — В иных обстоятельствах вы имеете возможность увидеть их лишь мертвыми.

Однажды ночью, при свете факелов, они вошли в замок какого-то феодала. Их на мосту замка встретил епископ этой местности в кольчуге и перепоясанный мечом, который он обнажил во славу своего бога и кинул на каменный настил моста, чтобы убрус пронесли над ним. Рыцари, неловко сгибая колени, склонились рядом с епископом. И в замке пировали до утра, восхваляя убрус и дальновидность императора, овладевшего этим убрусом.

Погреба, из которых носили прислужники вина, были расположены неподалеку от помещения, где возлежали арабы. Им принесли барана, изжаренного целиком, но, так как Джелладин не знал, зарезан ли баран согласно Закону, арабы отказались есть. Когда уносили барана, кади Ахмет нырнул во тьму вслед за прислужниками и вернулся не скоро. Но вернувшись, он весело размахивал руками, и от его бороды пахло вином и жареным мясом. Он сказал:

— Они будут пить до рассвета. Я начинаю верить, что по-своему они крайне набожные люди.

Кади Ахмет рано разбудил Махмуда. Кади думал о чем-то хорошем, и глаза его влажнились, словно пропитавшись превосходными мыслями. С его лица не ускользала улыбка,



и Махмуду тоже стало весело. Он вскочил:

— Пора ехать?

— Смотря куда, — сказал кади. — Если к Константинополю, то мы поедem вечером. Епископы пьяны. Их протопресвитеры пьяны. Пьяны все, и если б аллах не возбранял мне это, я бы прославил пьянство. Благодаря их пьянству мы увидим с тобой поучительное зрелище. Город!

— Разве здесь есть город? Вчера ночью мы не слышали шума города, не видели огней и не было колокольного звона. И большой город?

— Большой. Такой большой, что Багдад и Константинополь по отношению к нему что ступица к колесу.

Они прошли двор замка, где в беспорядке спала пьяная прислуга. Ворота замка были открыты, и вратари тоже спали пьяным сном. Мост был опущен. Махмуд возмутился такой беспечности, а кади сказал:

— Я же тебе говорил, что они надеются на чудо и глупеют с каждым днем.

На мосту они остановились и, садясь в седла, посмотрели на замок. Во втором этаже, в зале, где стоял балдахин с убрусом, догорали свечи, и возле свечей на коврах, положив головы в направлении святыни, спали монахи. Свечи образовали, оплывая в одну сторону, большой нагар, и от них несло запахом горячей одежды.

— Превосходный замок и превосходнейшее вино! — сказал кади. И он стегнул мула, чтобы тот поскорее обогнул гору, на которой стоял замок.

Они увидели великую плоскую равнину и русло высохшей реки. Вдоль этого русла, за-

валенного валунами, тянулась набережная и стояли руины домов, церквей и увеселительных ристалищ.

— Развалины! — сказал Махмуд.

— Иные развалины поучительнее цветущего города, — проговорил кади, погоняя мула.

Они въехали в предместье, где некогда были маленькие домики бедняков. Вскоре перед ними начали подниматься большие белые, и красные, и синие колонны, облепленные колючими травами. Трава хрустела под ногами, как некогда под ногами времени хрустели, разрушаясь, эти высокие мраморные дворцы и храмы.

Да, это был когда-то могучий и славный город! Так как равнина возвышенна и к тому же было раннее утро, то весь город можно разглядеть довольно ясно.

Они поднялись к акрополю.

Кади достал свою тыквенную бутылку, лепешку, предложив Махмуду позавтракать. Махмуд отказался.

— Как называется город? За какие грехи и кем он уничтожен? — спросил он.

Кади сказал:

— Никто не мог мне сказать этого! — И он продолжал: — Люди думают, что устроить праведную жизнь так же легко, как перенести парус с одного борта лодки на другой. Но гляди, вот что осталось от их намерений.

— Это потому, что тогда не было пророка Магомета! — сказал Махмуд.

— У них был свой пророк, и они строили свой город на развалинах другого. Вспомни замок, из которого мы только что выехали. Разве владелец замка не старается выстроить

возле себя новый город и разве он не уверен, что знает правила жизни лучше, чем кто-либо до него?

Махмуд строго посмотрел на кади:

— Что же делать? Не жить?

— Я говорю это именно к тому, — ответил кади, — что жизнь прекрасна и что не нужно отчаиваться. Как ни удивительно, но и старый глупый властитель, у которого умно лишь его вино, немножко прав. Он знает действительно немного больше, чем жители этого разрушенного города. Жизнь! О Махмуд! Законы жизни более просты, чем те, в которые веришь ты и похожий на тебя неразстворимый Джелладин.

Махмуд засмеялся — таким нелепым показалось ему сравнение с Джелладином. От смеха ему захотелось есть, он попросил у кади кусок лепешки и немного отхлебнул из бутылки.

Они продолжали объезд города. Кади, вглядываясь в развалины зданий и разбитые фигуры богов, сказал, что город, несомненно, принадлежал древним эллинам, когда они поклонялись Зевсу и Аполлону.

— Джелладин утверждает, — проговорил Махмуд, — что эллины наказаны аллахом за беззаконие, так как хотели людскими руками вылепить бога, которого никто не может изобразить. И не ходят ли и сейчас по развалинам призраки этих ужасных богов?

И он положил руку на меч.

Кади ничего не ответил, заинтересованный холмиком крупного серого песка, сквозь который просвечивало что-то ослепительно-белое и манящее. Он спрыгнул с мула, разгреб песок руками и обнажил мраморную фигуру мла-

денца с крылышками и колчаном и луком в руке.

— Идол! — воскликнул в страхе Махмуд. — Отбрось его!

Разглядывая кроткое, улыбающееся лицо ребенка, кади Ахмет сказал:

— Быть может, Желладин и прав. Смотри, какое человеческое выражение у этого мальчика. Они достигли удивительно многого в деле создания богов, эти эллины! Не помешай им варвары, они, пожалуй, бы, создали и истинного бога. Вглядишься. Мальчик почти смеется от удовольствия, что ему еще раз удалось посмотреть на мир. Разве тебе не хочется смеяться вместе с ним?

Кади рассмеялся, ребенок улыбался, а Махмуд смотрел на них с ужасом.

— Не находишь ли ты, Махмуд, что наш халиф немного похож на этого божка? Правда, халиф, занятый серьезными делами, редко улыбается и староват, но есть у них что-то общее...

Тогда Махмуд в двойном негодовании, что кади похвалил божка неверных, а затем сравнил его с халифом, стегнул коня, подскочил к кади, выхватил божка и кинул его на близстоящую колонну. Божок разбился в мелкие куски.

У кади на глазах показались слезы, он всплеснул руками, а затем улыбнулся и сказал:

— Что разбито, то разбито. Разрушен целый гигантский город, и что в сравнении с этим какой-то жалкий божок?

И они повернули к замку.

Когда они возвратились в замок, Желладин готовился к утреннему намазу и омове-

нию. Во всей его фигуре видна была строгость и страх, точно вокруг он видел такое, что исправить и повести по дороге Закона совершенно невозможно.

И они встали на молитву. Махмуд молился с достоинством воина. Кади — с повелительным лицом судьи, заканчивающего скучный процесс. Джелладин молился так усердно и долго, что казалось, он молится о том, дабы вся земля провалилась, и никак этого вымолить не может.

К концу молитвы начали просыпаться византийцы. Послушные и дисциплинированные воины, они, согласно повелению императора, глядели на все, что делают арабы, одобрительно. Кроме того, ненавидя своих еретиков, вроде несториан и нечестивых поклонников Ария, они чужую, воинственную религию меча и зеленого знамени уважали. Особенно им нравился начальник конвоя — плечистый, в латах, посреди которых поблескивал тщательно начищенный серебряный полумесяц. Лицо Махмуда казалось им каменным и глубоко равнодушным ко всему, кроме приказаний своего невидимого командира.

## XXVIII

Незадолго до прихода в монастырь Евсевию, где у бруссу предстояло пробыть довольно продолжительное время, на горном перевале процессию захватила буря.

Вокруг них лежали лиловатые скалы, которые от дождя стали агатовыми. Ветер бешено носился вокруг скал, таща откуда-то снизу толстые и широкие листья, которые прили-

пали к лицу и закрывали глаза. И это было страшно.

Над балдахином, взметнутые кверху, блестя неестественно ярко при свете молний золотые кисти, и видны были черные фигуры монахов, которые по-прежнему продолжали исполнять свои службы. Голоса монахов не было слышно, и их большие черные рты беззвучно раскрывались, принимая в себя, как в промасленные воронки, целые потоки дождя. Каменистая почва не впитывала влаги, и чистые, прозрачные ручьи журчали возле ног коней и мулов, точно торопясь уйти из этих мрачных нелюдимых мест.

И сразу же, как только вышло солнце, скалы высохли, опять стали тускло-лиловатыми, а небо над ними походило на самую лучшую сгущенную глазурь, которой покрываются дорожные вазы.

Кади Ахмет, стряхивая с плаща капли, сказал:

— Неоспоримое преимущество бури в том, что после нее испытываешь довольство и хочется есть.

И он обратился с просьбой о пище к византийскому чиновнику, сопровождавшему их. Кади жевал кусок мяса, густо посыпанный крупной солью, а Махмуд сказал, с грустью глядя на чистое небо:

— Мне бы хотелось идти именно в этой буре на Византию, а не в шуме этой нелепой и безбожной процессии.

— Так, сын мой, так, — одобрительно промямлил Джелладин, который никак не мог согреться после бури.

Кади Ахмет сказал со смехом:

— Ого! Он уже тебя называет сыном.

— Берегись, — сказал сердито Джелладин, — как бы я не назвал тебя отступником!

— Путешествие наше дошло едва ли до середины, а мы уже ссоримся, — сказал с грустью кади Ахмет. — Неужели к концу его, здесь, на чужбине, мы обнажим друг против друга ножи? Прости меня, Джелладин.

В конце концов Джелладин был приятный старик! Когда он не говорил о Законе, а случалось это с ним редко, он высказывал дельные мысли. Так, например, он хорошо рассказывал о науке вождения караванов в пустыне и неплохо высмеивал преподавателей Корана в медресе эль Мустенсеризэ. Кроме того, он понимал медицинское дело и оказывал врачебную помощь в случае нужды своим спутникам.

Он понял кади и мягко сказал:

— Во имя Багдада я прощаю тебя. Держи свой дальнейший путь с миром.

Из-за бури, вызвавшей обвалы и преградившей камнями дорогу, процессия задержалась на перевале. Неподалеку, в неприступных горах, жили пустынные и аскеты. Дабы не мешать их созерцательной жизни, епископ Самосата приказал не извещать пустынных о движении убруса.

С перевала видна была желтая гора и черные пятна пещер, где жили пустынные. Когда взгляделись, то увидели, что дорога к ним выстлана ровным плитняком. И стали говорить, что ангелы спустились ночью, перед приходом убруса, и выстлали эту дорогу.

Должно быть ангелы сообщили также пустынным об убресе, потому что, как только установилась ясная погода и стража начала расчищать перевал от камней, на плоской до-

роге от горы показались шатающиеся тени. Шли волосатые, завернутые в травы люди, опираясь на длинные посохи. Они поддерживали друг друга, шатаясь от непривычного хождения, хотя дорога была глаже пола дворца визиря. На отполированных плитах, как в неподвижной воде, отражались старцы, и вся процессия поклонилась им в ноги. Побезденные такой святостью, арабы слезли с коней и тоже поклонились пустынным.

Махмуд воскликнул:

— О Джелладин! О кади! Я ничего не понимаю.

Джелладин молчал, не находя соответствующего текста Закона, а кади пробормотал:

— Быть может, волею этих людей создается добро, удерживающее огонь, которому предстоит испепелить все грехи Византии. — И он добавил: — Что такое добро? Дружба честных людей, верящих друг другу. Дружба создает чудо жизни. И чем она чище, чем ее больше, тем лучше и возвышенней жизнь. Я предвижу время, когда дружба и правда уничтожат границы и примирят враждующие народы...

Пустытники поклонились убрису, сотворив песнопения. С лиц их струилось ослепительное сияние, и они почти юношеским шагом повернули обратно, и казалось, что их гора приближается к ним.

Так как пустытники были нищи и голы, то они поднесли в дар убрису несколько ветвей какого-то дивно благоухающего растения, которое цвело лишь на этой неприступной горе. Всю дорогу до Константинополя ветви испускали благоухание, пересиливающее благоуха-



ние ладана, и кади Ахмет был очень доволен, когда однажды кусочек ветви упал в пыль и никто не заметил падения, кроме кади. Кади Ахмет подобрал кусочек с пятью плотно прилегающими к стволу светло-коричневыми листочками. Он сунул кусочек в свою тыквенную бутылку и сказал:

— Моему настою не хватало именно этого запаха. — И добавил: — Я все более и более убеждаюсь, что люди очень похожи на тех жуков, которых почитают в Египте и которые необыкновенно искусно умеют скатывать в шар пищу, необходимую для их потомства. Если правда, как утверждали древние, — а их знания были очень прочны, — что земля наша похожа на шар и аллах выкатал ее из ничего, то есть из навоза, то почему же из навоза жизни не может и человек выкатать себе хорошее будущее? В конце концов что такое эта удивительная гора с пустынниками, которую вы видели? Навоз, не больше. И, однако, смотрите, каких результатов добились пустынники, упорно стремящиеся к своей цели! Слюной своего восторга они растворили камни и выстлали гладкую дорогу какой мы не видали и во дворце визиря. Причем они лишь косвенно дотрагиваются до истины. А чего ж достигнут люди, когда они будут жить не толчками, как эти тощие византийцы или как даже мы, хотя багдадцы способны делать более резкие толчки, а плавно и осмысленно? — И, глотнув из своей бутылки, он заключил: — У них будет великолепная жизнь и чудесное вино! Но, впрочем, я не пожалуюсь и на это, которое пью. Замечательная трава. Она разглаживает душу!

Джелладин сказал:

— Кади! Ты опять потворствуешь преступникам и нечестивцам.

А Махмуд проговорил:

— Если б подобное подвижничество помогло Багдаду в войне с византийцами, я бы заселил одним собою и своими песнями не только эту гору, но и окрестные!

Кади сказал:

— Ты и так на горе, хотя и не видишь ее. Но если б ты на самом деле переехал сюда, мне б было жаль тебя оставлять здесь. Твои песни вызывают во мне многие и весьма разнообразны мысли, полезные не только тебе, но и мне. Весьма гадательно, чтоб я встретил другого такого внимательного и в то же время так пренебрегающего мною слушателя.

Ночью в горах было зябко, и странно было вспомнить, что еще недавно они с таким удовольствием пили холодную воду. Зажигали костры, и монахи швыряли в пламя целые деревья. Неловко подпрыгивая, монахи старались согреться не только огнем костра, но и телодвижениями. Арабы сидели неподвижно, закутавшись в свои верблюжьи плащи, и прыжки монахов казались им молениями.

— В горах и холоде, — сказал кади, — жизнь мне с трудом представляется имеющей смысл, и я понимаю христиан, восхваляющих вино. Быть может, у них много гор и им нечем согреться? Кроме того, вино придает содержание любому бессмысленному камню.

Дрожа от холода, Джелладин говорил:

— Содержание жизни — лишь в Законе. Я не одобряю, кади, что ты ставишь вино выше Закона.

Махмуд редко вступал на скользкий путь спора. Подождав, когда спорящие, исчерпав

свои аргументы, умолкали, он оборачивал лицо к востоку и из учтивости, не желая мешать песнопениям возле балдахина, заводил свою песню. Он пел о Багдаде, о его набережных, о теплых камнях, сковывающих Тигр, об его воинах, об его искусных и неустрашимых ремесленниках и торговцах, об его несравненной красоте и оружии! В синем, мерцающем блеске светился ему Багдад, а глаза его возлюбленной были синей индиго, и слезы ее увеличивали блеск их!.. Перед самым его отъездом она сказала, что ждет ребенка. Кто он будет, этот маленький иль-Каман? Оружейник? Поэт? Торговец? Воин? Или законовед вроде забавного Джелладина? Или судья вроде милого и веселого кади Ахмета? Приходила в голову песня «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе», но он стеснялся ее исполнить и умолкал.

Кади, выражая общее чувство, говорил:

— Порядочно! — И добавлял: — Наискось от присутствия, где я сужу людей, есть кофейня. Твоя песня напоминает мне ее. Там готовят превосходное яблочное пирожное с каплей вина и ломтиками апельсина. По приезде в Багдад я немедленно угощу тебя, о поэт!

Затем они ложились спать.

## XXIX

Убрус медленно приближался к столице.

Они шли долинами, где жара была умеренной, так как недалеко было море. Люди убирали жатву. Повислые парчовые кисти балдахина покрывались вялой бархатистой пылью, поднимаемой грубыми подошвами подбегающих отовсюду поселян. Жнецы втыкали свои

серпы в снопы. Пастухи бросали стада. Богатые несли в подарок убрусу лучшие свои украшения и одежды, а бедняки — смиренную кисть винограда или меру пшеницы. Опять всех сопровождавших икону обносили холодной водой, от которой сладко дергало в деснах и испарина выступала на плечах. Подавали воду и арабам, и кади Ахмет говорил:

— Порядочно. А помните — горы?

И все улыбались.

Благоуханная свежесть садов дышала на них. Возле дороги начали поблескивать многочисленные источники, струи которых катились по желобу, заканчивающемуся головой какого-нибудь зверя, иссеченного из камня. Дорога кишела навьюченными мулами, ослами и телегами. Это торговцы и крестьяне спешили снабдить столицу фруктами и мясными припасами. Блеяли овцы, ржали кони, гоготала птица, сквозь решетку корзин поблескивала рыба. Иногда через толпу, щелкая бичом, продирался всадник в серо-зеленом плаще и высоком блестящем шишаке с гербом. Это посланец какого-нибудь командующего армией или начальника крепости спешил доставить письмо императору.

Наконец в лицо им пахнула тяжелая и сильная прохлада. Один раз, другой. Сады на холмах расступились. Напрямик, развевая их одежды, дул решительный и свежий ветер. Перед ними был Босфор.

Кади Ахмет почтительно дотронулся правой рукой до головы и до сердца и сказал:

— Прекрасен ты, о Босфор! Из-за твоей воды пролито уже столько крови, сколь ты не сешь сейчас струй. Я — слаб, и некоторые упрекают меня в чрезмерном человеколюбии.

И я ничего не обещаю тебе, как только всю свою кровь, лишь бы ты ежедневно позволил мне любоваться на тебя.

— Ты — поэт, кади! — воскликнул Махмуд.

— Я — человек, — скромно ответил кади.

И Махмуд, вспомнив восклицание Дажды «Я — женщина», увидел глаза ее в синих волнах Босфора. Не эти ли глаза привели его сюда? И он сказал:

— Слава человеку.

— Да будет благословенно имя его, — благоговейно ответил кади.

Среди зелени и плодов мерцали белые виллы богачей. Пахло незнакомыми цветами. Процессию встречали золоченые колесницы, коней еле сдерживали искусные и сильные наездники. Кони перестукивали копытами о ровную дорогу. Корабли, влекомые бечевой, веслами или парусом, приставали к берегам, и корабельщики кидались на землю, чтоб поклониться убрису.

Парчовый балдахин ушел от арабов далеко. Несметные толпы народа отделяли их от него. А арабы вглядывались в черное облако дыма ладана, которое теперь стлалось над местом, где шел убрис. Передавали, что корабль императора приближается.

На раскрашенном затейливо судне, похожем формой на дельфина, арабов перевезли через Босфор. Когда они переходили по мосткам на судно, кади Ахмет посмотрел вниз.

— Увы, — сказал он. — Уже не вино, а часть моря будет отделять нас теперь от Багдада.

Затем они увидели зубцы стен и квадратные и круглые башни, стерегущие Константи-

нополь. И сердца их сжались. Стены казались им темницей. Они спросили у чиновника, сопровождавшего их по-прежнему, когда они увидят императора и когда передадут ему дружбу и привет халифа. Чиновник снисходительно ответил, что император, несомненно, их примет, но когда? Кто знает!

Арабов вели по улицам. Улицы были пустынные. Все население столицы ушло встречать убрус. Чиновник показывал им на дворцы — два высоких квадрата по бокам, а в середине, по фасаду, множество тонких, украшенных резьбой колонн. В церквах звенели неистово колокола. Иногда проходил мул, нагруженный свечами, или спешил монах, почему-то опоздавший на встречу. И словно от звона колоколов колыхалось на рейде множество кораблей. Арабам хотелось спать и они зевали.

Их поселили в широком и пустом доме, в предместье святой Маммы.

Они уже засыпали, когда кади Ахмет поднял свою рыжую бороду и сказал:

— Встанем пораньше и пойдем исполнять приказание визиря.

— Какое? — спросил поспешно Джелладин.

— Ты забыл? Визирь приказал высмотреть все, что полезно перенять Багдаду! Здесь, я вижу, обширное и поучительное поле для наблюдений.

Джелладин сказал:

— Неужели визирь считает возможным чему-нибудь научиться у византийцев? Я бы хотел лишь узнать одно: вели ли они особые переговоры с эмиром Эдессы?

Так, невзначай, кади Ахмет узнал о тайном поручении визиря.

Когда Махмуд проснулся, Джелладин стоял на молитве, а кади Ахмет уже куда-то скрылся.

Арабов хорошо кормили, поили сладкими напитками, кони их находились в отличных стойлах, у ворот сидел дежурный чиновник — и все. Джелладин спросил у чиновника, скоро ли их поведут к императору. Чиновник посмотрел на них с некоторым удивлением и сказал:

— К императору попасть трудно. Он сейчас молится.

— По поводу чего он молится? — спросил Джелладин.

— По поводу того, по поводу чего следует молиться, — ответил чиновник, и разговор окончился.

Джелладин успокоился: что иное мог ответить ему сын беззакония?

День был жаркий и длинный, и чувствовалось, что таких дней будет много. Махмуд гулял по саду возле дома, глядел на фонтан. Ему не хотелось ни есть, ни пить, и даже не хотелось составлять стихи. Он видел, что тоска охватывает его, и он не знал, как с нею справиться.

К вечеру вернулся кади Ахмет. Он был багров и весь покрыт пылью города, от огненно-рыжей бороды до синих, вышитых цветной шерстью сапог, перевозносил византийскую кухню, точно он целый день ел. На нем был новый розовый с голубым шелковый пояс, и тыквенная бутылка его была полна так, что пробка не входила туда. Он описывал цветных женщин: каштановых, черных, как аспидный ка-

мень, желтых, как только что раскрывшаяся водяная кувшинка, белых, как борода Джелладина...

Джелладин, видимо соскучившийся по кади, ласково плюнул в сторону.

— Пойдем вместе, и ты убедишься, ученый муж!

— Не желаю и выходить, — сказал Джелладин. — Все вокруг, как вообще у нечестивых, похоже одно на другое, и я не вижу разницы между первым моим шагом по византийской земле и вот этими, по их столице. Мне думается, что мы топчемся на одном и том же месте, хотя я уже износил подметки сапог. Мне жаль подметок: я не взял запасных, а византийцы — плохие кожевники, и подметки у них стоят дорого.

Он снял сапог и глядел на него с грустью. Визирь отпустил ему много денег, но он был скуп и жаден и не желал тратить эти деньги в Византии. Кроме того, он грустил и оттого, что византийцы наслаждаются и совсем не думают о текстах Корана. Кади говорил, как мастерски здешние повара жарят в масле тонкие ломтики мяса, предварительно вымоченного в настое разных целебных трав... Джелладин прервал лакомку:

— Пустяки!

И он начал вдруг вспоминать молодость, глядя на прислугу, которая повела поить коней. В его молодости не было ни жалости, ни забав, и казалось, что все его радости заключались лишь в том, чтобы хорошо вызубрить уроки и лучше всех сдать экзамены. И больше всего он радовался, что вместо тонкой книги ему выдавали толстую, а после толстой —



необъятно огромную. Ему было шестнадцать лет, когда ученейший муж Зади иль-Азари, составитель сорока учебников, хотел поймать его на ошибке в толковании 36-й суры. Но Джелладин не сдавался, настаивал, и ученейший муж должен был сказать наконец, что Джелладин прав. И думалось, что Джелладину никогда не светило солнце, не улыбались женщины, он никогда не садился на коня, и невольно хотелось спросить: ну, почему у тебя шестеро детей и почему они живут с тобой, а не убежали хотя бы в пустыню? Рассказ его был неистово длинен и сучен, но когда он окончил его, кади Ахмет, обшаривавший себя, точно его кусали блохи, сказал оживленно:

— Подожди, у меня, кажется... впрочем, ты прав — пустяки!.. Вернемся к твоим рассказам. Ты говорил печальное Джелладин, ибо любая казуистика, даже казуистика любви, печальна. И все же я слушал тебя с удовольствием! Пусть твои науки сомнительны, ценность твоих занятий — невелика, но ты пытался мыслить, а это очень хорошо! Печальнее, если грядущие поколения думали бы о нас, что мы только резали друг друга, рыча от наслаждения и злобы, подобно диким зверям, когда их кормят сырым мясом. Мы все же думали! Мы тоже думали, что мир можно устроить лучше, да и надо устроить лучше. Разумеется, мир этот еще темен для нас, и светильник наш, при помощи которого мы двигаемся вперед во тьме, еле-еле теплится. Но тем не менее и мы думали о благе потомков! И когда, быть может, через тысячу лет, до наших потомков дойдут стихи Махмуда, — а они, я уверен, дойдут — мне бы хотелось: пусть по-

томки поймут — мы не потому жаждали уничтожения Константинополя, предания его огню и позору, что он богат, славен и мы завидуем ему, а потому, что здесь много зла, пиратов, работорговцев и мучителей истины, мошенников! У меня, например, как я сейчас обнаружил, выкрали кошелек.

Махмуд захохотал.

— Я знаю, над чем ты хохочешь, Махмуд. Тебе кажутся нелепыми мои сопоставления? То хвалил византийскую кухню, вино, женщин, а вдруг обнаружил кражу кошелька и принялся обличать! Я вижу зло, но я редко говорю о нем, так как верю, что зло испаряется от правды, как вода от лица огня. Сейчас же мне хочется высказать пожелание, чтоб потомки наши видели — мы хоть немножко, но лучше византийцев. Мы — арабы. Византийцы называют себя наследниками древних эллинов, но кто сохранил Аристотеля, Платона? Мы. Кто сохранил эллинскую простоту жизни, наивность, прямоту? Мы. Арабы. Я люблю людей, хотя моя профессия по странной игре судьбы создает мертвецов и заключенных. Но вот сегодня, за один день шатаний по Константинополю, я видел здесь жестокосердия, деспотизма и ханжества больше, чем за прожитые в Багдаде пятьдесят лет. И зло Багдада кажется мне трещоткой сторожа по сравнению с оглушающим прибоем константинопольского зла, и я искренне разделяю твое мнение, Махмуд, что Византию следует уничтожить. И с завтрашнего дня я пойду в город с твердым намерением — не пить ничего, кроме воды, не глядеть на женщин и отворачиваться от лакомств, питаюсь моей сухой лепешкой. Последний раз...

Он сделал из своей тыквенной бутылки большой глоток.

— ...я пью этот настой. Отныне баклажка будет полна только влагой родника. Я подробно разгляжу и опишу гнездо византийского зла: их вооружение, их способы торговли, их систему укреплений — и, быть может, доберусь до тайны «греческого огня», которым они жгут суда своих противников. Будет записана оснастка кораблей, количество боевых припасов, все солдаты! Я запишу каждую их стрелу и ощупаю вот этими пальцами, которые — глупые! — стремятся щупать только женщин и держать вино, — ощупаю каждую тетиву и дерево их луков!

— Иду с тобой! — воскликнул Махмуд.

— Да, да, идем вместе. Ты больше меня понимаешь в вооружении. О мошенники! Вам будет горько вспомнить о моем приезде сюда!..

И он отхлебнул из бутылки.

— Аллах да осветит ваш путь, — сказал торжественно Джелладин. — Конь растряс меня, и я чувствую слабость. Но через день или два я оправлюсь и пойду с вами. Аллах видит праведных и помогает им. Мы свершим великое.

— Да, да, аллах! — сказал кади. — Аллах, несомненно, велик... но так же несомненно и то, что через тысячу лет потомок наш улыбнется, читая учение пророка, находя его наивным. Однако мне думается, что в этом наивном учении потомок найдет крупинки истины и добра, из которых, через тысячу лет, могла быть вылита огромная золотая гремящая чаша жизни, полная вином творчества...

И он добавил, печально глядя в пустое дно бутылки:

— ...в то время, как я пил обыкновенное и довольно дешевое вино!

— Что? — сказал грозно Джелладин. — Потомки улыбнутся? Учению пророка? Учение пророка — вечно. И лучше нам не плодить детей, чем думать, что дети детей наших будут улыбаться над тем, над чем мы плачем от восторга!

— Я хочу сказать только, о неподвижная звезда Закона, что, несомненно, придут другие пророки, которые еще более ясно и отчетливо укажут пути добра, истины и честности, пути освобождения людей от зла...

— Вздор! Если не вечно учение пророка, то, значит, не вечен и аллах? Ты это хотел сказать, кади?

Кади испуганно пролепетал:

— Я и не думал говорить такое...

— Пьяный глупец. Иди спать. Я прощаю тебе твою болтовню потому лишь, что у тебя пробудились высокие стремления.

— Возблагодарим аллаха, — сказал кади, поспешно укладываясь на ложе сна, — да будут наши молитвы к нему многочисленны, как зерна проса, и красивы, как крутой раскат куска атласной материи.

— Да будет так, — проговорил Джелладин, благочестиво проводя правой рукой по своей длинной седой бороде.

### XXXI

Махмуд поверил, что кади Ахмет и на самом деле намерен изучить до дна весь Константинополь. Махмуд встал с восходом солнца. Кади спал долго. Затем он совершил сложное и не свойственное ему омовение и молил-

ся так, будто ему впредь и не придется совсем молиться. Затем он думал и выбирал чистый пергамент для записей и, сказав, что лучше не брать пергамента, чтоб не наводить византийцев на лишние мысли, поднялся. Но пошел он не на улицу, а к фонтану. Он наполнил водой свою бутылку, прополоскал ее, понюхал.

— До омерзения пахнет вином, — сказал он и принялся вновь ее полоскать.

Наконец бутылка показалась ему чистой, и он прицепил ее к поясу.

— Удивительно, — проговорил он, — бутылка стала очень тяжела.

И он отлил из нее.

Затем он разглядывал своего мула, а мул его. Он думал: ехать ли ему верхом или направиться пешком? Верхом — почтеннее для посланца халифа, пешком — незаметнее. С одной стороны, надо соблюдать достоинство, с другой — незаметность действий. Затем он начал рассуждать: пойдет с ними чиновник, сидящий у ворот, или нет, и нужно ли говорить чиновнику, куда они уходят? Затем он начал жаловаться на жару, потому что солнце уже стояло высоко и старому его сердцу будет трудно переносить пекло, когда все неверные сидят в тенистых кофейнях.

Махмуд молчал.

Кади Ахмет сказал:

— Мне нравится твое открытое лицо и твоя чистосердечность, Махмуд. Ты говоришь смело, свободно. А мне, если нужно купить сыру на одну монету, приходится покупать на три.

Наконец они вышли за ворота. Кади Ахмет сказал, глядя на чиновника:

— Если он примет нас за дураков и пьяниц, это хорошо. Но мы не будем пить, и он

примет нас за соглядатаев, а законы для соглядатаев в Византии очень свирепы. Лучше всего, пожалуй, взять его с собой. Ведь не столь важно то, что ты видишь, сколь важно — насколько осмысленно ты видишь! Возьмем его? Тогда нас никто не заподозрит в соглядатайстве.

— Он спит.

— Спит? Счастливец. Спать в такую жару очень приятно. Я его разбужу и хоть этим немного отомщу мошенникам, укравшим у меня кошелек. И я его замучаю, вода за собой!

Пот капал с его рыжей бороды. Махмуд, жалея его, все же твердил:

— Нужно идти. Пойдем.

Наконец кади сказал:

— Пойдем! Но как? Пешком — невыносимая жара...

— Тогда поезжай на муле.

— Назовут, повторяю, соглядатаем.

— Пойдем пешком, медленно.

— А честь Багдада? Что мы — слуги, ходить пешком?

Махмуд схватил его за рукав и повел.

Кади вскричал:

— Ты берешь на себя всю вину, ведя меня!

— Да, беру.

— Но я гублю тебя! Такого поэта!

— Вся вина на мне, учитель.

— Учитель? Если учитель, и старше тебя, я должен тебя образумливать!

Так дошли они до рейда. Увидав вблизи множество морских судов, приплывших сюда из Вавилона, Шинара, Египта, Ханаана, купцов из Индии, Персии, Венгрии, страны печенегов и хазар, воинов Ломбардии и Испании; увидав бочки с медом и вином, кипы

льна, полотна, шелковых тканей и нежнейших сирийских материй, длинные слитки пахучего и желтого воска; увидав менял, монеты всех стран Европы и Азии, склады золотой и серебряной парчи и восточных пряностей, — кади Ахмет всплеснул руками, как ребенок, и радостно вскричал:

— Аллах! Ты освежил мое сердце красотой мира. Я тебе очень признателен, Махмуд, что ты привел меня сюда. Бегущая жизнь ускользает, и как приятно отведать ее бег.

Он, по привычке, достал бутылку, глотнул. Лицо его изобразило отвращение.

— Какая гадость! Кто мне сюда налил воды? Испытывая такой восторг, разве можно пить воду? Зайдем на минуту в эту кофейню.

— Мы увидали корабли, а теперь должны встать с ними бок о бок. Солнце на полдне, и нам много дела. Кофейни посещают после труда. Нужно посмотреть, как и где расставлены матросы и командиры. Из какого дерева построены корабли.

— Зачем? — спросил кади.

— Чтобы запомнить, записать и передать все визирю.

— Разве мы корабельщики, чтобы знать и понять корабли? Разве мы первые арабы, приехавшие в Константинополь? В молодости визирь и сам бывал здесь, однако мы не читали его записей. Для того чтобы понять корабли и их силу, нужно пойти в мастерские порта...

— Хорошо, мы пойдем в мастерские.

— Сегодня?

— Сейчас.

Они осмотрели правительственные верфи.

Кади Ахмет, пыхтя и страдая жаждой, шел за Махмудом между обрезками досок, остовами кораблей, по опилкам. Пахло смолой, всюду валялись куски пеньки, раскрытые бочки со смолой, и никто не обращал на них никакого внимания, так что казалось, возьми они все, что здесь лежит, некому будет и слова сказать. Между тем в работе виден был большой порядок, и по всему чувствовалось, что работают владыки морей.

— Ты уразумел что-нибудь? — спросил кади.

Махмуд ответил откровенно:

— Очень мало. Я вижу лишь силу.

— Вернее сказать, ум. Ум зла. Но мы увидели этот ум и вне мастерских. Нам не нужно понять лад их работы, а здесь это трудно. Не пойти ли нам в другие мастерские?

— Куда?

— Например, в монетный двор. Монета — весьма важная составная часть государства, и визирь будет признателен нам, если мы откроем ему способ изготовлять множество дешевых монет.

И они направились в монетный двор. Осмотрев его, кади сказал:

— Теперь мы можем сказать, как легко изготовлять монеты. Но мы не сможем сказать, откуда брать золото для монет. О монетном дворе лучше умолчать. Пойдем в гинееки, изготовляющие весьма высокие сорта пурпурных и шелковых тканей. Халиф так любит пурпур, а визирь — шелк!

— Пойдем.

Кади посмотрел на солнце:

— Ого, близок закат, а мы еще не ели.

— Успеем, успеем, — торопил его Махмуд.



— Ты успеешь, потому что ты молод, а я уже могу опоздать. Смотри, какая уютная и прохладная харчевня, как пахнет вкусно мясом и как приветливо лицо продавца! Я не встречал в Византии таких милых лиц! С ним будет любопытно побеседовать.

— Позже, позже.

Из гинекей они вышли грустные и усталые. Махмуд сказал:

— Мои знания ничтожны, и я не могу охватить знаний византийцев. Зачем я сюда приехал?

— Мы меряем пространство и время, чтобы учиться, — сказал кади. — Мы научимся.

А в глазах Махмуда мелькали поставленные один на другой бочонки, скрепленные обручами из ивы и наполненные дубильным орешком; ящики с камедью, растительным клеем для проклейки тканей; холмы каменной соли; потрескивали станки, сновали мастера, поправляя челноки; звучал голос надсмотрщика мастерской, почему-то хваставшего, что дом покрыт штукатуркой из смеси извести, песка и цемента, который доставляется сюда из Пелопоннеса Таврического. Где находится Пелопоннес Таврический? Махмуд не знал даже этого.

Сквозь улицы и крепостные ворота виден был Босфор, два корабля, скрепленные цепями, грузчики, перетаскивавшие товары на пристань, и много ласточек, скользящих над недвижимой серо-зеленой водой. Здесь же, над головой, назойливо жужжа, кружился крупный шершень. Откуда он? И что мы знаем в этом огромном мире?

Между площадью Августион и Тавром, на улице Меса, они увидели множество мастер-

ских, где изготовлялись на продажу драгоценные и редкие товары: вышитые золотом, малиновые, или цвета морской воды, или цвета черного янтаря, или желтые ткани; женские уборы из дорогих камней; изделия из бронзы и серебра; византийские эмали и мозаичные иконы; тонкие сосуды из стекла. Продавалась слоновая кость дивной резьбы; прозрачные и блестящие платья из Фив и Пелопоннеса.

Они стояли долго, рассматривая все это, и один торговец, глядя на них, спросил другого:

— Зачем они смотрят?

А другой ответил:

— Они смотрят и ужасаются золоту. Золотом, которым мы обладаем, мы поведем против наших врагов силы всей Европы и Азии. И мы разобьем наших врагов, как глиняный горшок. И они будут подобны глиняному горшку, который уже не починить, потому что он из глины.

Махмуд, услыша эти слова, сказал печально кади Ахмету:

— Пойдем в кофейню.

И ни он, ни кади Ахмет, ни один торговец и ни другой еще не знали, что князь Игорь переправился через Дунай и что если раньше отступали отдельные части византийского войска, то теперь оно стремительно бежало все.

## XXXII

Махмуд, отхлебывая кофе, молча смотрел на узор ковра, себе под ноги. Кади наполнил свою тыквенную бутылку вином, нашел его приятным и теперь наслаждался, заткнув за

пояс полы своего кафтана, беседой с женой владельца кофейни. Владельцу кофейни, бывшему переплетчику книг, он говорил, что в Багдаде книги гляncуют не яичным желтком, а на смеси бычьей крови с перцем, жене — что у нее такие глаза, которые способны лишить сна любого из смертных, и что теперь в бессонные ночи он будет приходить в их кофейню. Женщина хихикала, кади касался ее плечом. Муж смотрел на это спокойно и деловито.

Поболтав, кади молодцеватой походкой, браво выставив грудь, вернулся к Махмуду. Махмуд сказал:

— Византия знает больше, чем мы...

— В наслаждениях? Да.

— В науке войны и торговли! — сказал Махмуд. — А нам надобно знать больше. С чего начинать? Как поглотить науку Византии?

— Ты ошибаешься, Махмуд, — сказал кади. — Нас послали смотреть, а не поглощать науку Византии. У них языческая наука! Если бы народы учились друг у друга, им бы некогда было драться. Разве мы с тобой можем узнать самое главное?

— Что здесь самое главное?

Кади прошептал ему на ухо:

— «Греческий огонь». Тайна его — для нас с тобой непереварима.

Он икнул и сказал:

— Мясо оказалось тоже непереваримым. Оно пережарено! Хозяин! — крикнул он. — Дай мне крепчайшего вина. Мясо ты пережарил, и я обязан запить его.

Хозяин принес высокую глиняную кружку с вином, кади отхлебнул и улыбнулся:

— Порядочно. — И он сказал Махму-

ду: — Если б визирь дал нам очень много денег, руководителя поумнее Джелладина и тысячу писцов, мы б и тогда чувствовали себя бедняками и нуждающимися. Вчера я ходил по мастерским, где скорописцам диктуют книги. Какие здесь прекрасные каллиграфы, Махмуд! Я пересмотрел много книг. Император Константин, собрав вокруг себя много ученых и поэтов, составил громадные собрания книг по военной тактике, сельскому хозяйству, медицине, придворному церемониалу. Есть пятьдесят три книги, рассказывающих историю Земли от начала до наших дней! Я выбрал одно довольно дорогое сочинение, принадлежащее перу самого императора. Оно называется «О фемах» и разбирает вопросы географического характера, говорит о составе империи, о ее краях, людях...

— Визирю такая книга понравится. Ты купил ее?

— Если бы я ее купил, визирь, развернув книгу, бил бы ею меня по голове до тех пор, пока не истрепал бы и книгу, и мою голову. Ты не найдешь там сведений о Византии новейшего времени! Книгу написал сам император, а однако, о хитрец, он сообщает в ней сведения, относящиеся еще ко времени императора Юстиниана. Нового в ней только название да указание деления провинций, что мы знаем и без книги. Когда я выходил из квартала переписчиков, у меня выкрали кошелек.

— Что же делать? — спросил в отчаянии Махмуд.

— А делать то, что делает Джелладин: не обращать на византийцев никакого внимания. Народы как подогреваемая жидкость, — они закипают тогда, когда будет достаточно теп-

ла, и здесь-то обжигают все, что нужно обжечь. У тебя есть способность к стихам. Пиши. Это тоже подогревает народы. Арабы уважают стихи, — после оружия.

— Никто не знает моих стихов!

— Узнают.

— Когда?

— Когда нужно.

— А пить вино, ласкать женщин, которых не любишь, балагурить где попало, — тоже подогревает народ?

— Радость — это втулка, которой держится колесо.

— Прости, кади, но мне твои мысли кажутся безнравственными.

— Отлично. Ты иначе и сказать не можешь. И быть может, придет время, когда ты проклянешь меня, а если будет твоя власть, то и повесишь или посадишь в клетку возле ворот визиря, которому ты будешь первым другом. Все зависит от того, скоро ли придет новая война. И, однако, я прав. И ты — тоже прав. И если в Багдаде будут долго существовать такие люди, как ты и я, Багдад победит византийцев. И всегда, при всех горестях я с удовольствием буду вспоминать твою дружбу.

Он допил кружку и сказал:

— Зачем огорчаться незнанием? Учись, и знание придет. Византия для нас с тобой сейчас как то странное лицо, которое мы сопровождали сюда до Константинополя и которое не могли увидеть, так как парчовый балдахин был слишком плотно закрыт для нас. Ни буря, ни жара, ни ветры не распахнули его, а между тем я знаю его.

— Откуда?

— Мне вспомнился рассказ какого-то перса об этом пророке Иссе. Не знаю, насколько достоверен рассказ, но мне приятно было его слышать. Шел пророк Исса среди цветущих полей. На пути его лежал разлагающийся труп пса. Ученики содрогнулись. Но пророк Исса сказал им: «Зачем содрогаетесь и отшатываетесь? Вглядитесь в зубы пса. Он скалил их, защищая своего друга, и теперь они остались прекрасными, как жемчуга, даже на этом гниющем трупе».

Махмуд сказал:

— Меня грызет тоска.

— Да, здесь мы с тобой сейчас как зерна, выпавшие из мешка. Быть может, нас склюют птицы, а быть может, мы и прорастем. Кто знает? — И он, улыбаясь, сказал: — Все-таки жалко, что ты так резко и быстро отшатываешься от любви, точно это падаль. Я бы мог познакомить тебя с одной прорицательницей, в области любви, разумеется. Но ты бежишь женщин, а это в твоём возрасте просто опасно! А почему бежишь?

— Я люблю, — внезапно для самого себя выговорил Махмуд.

Кади Ахмет даже покачнулся:

— Неужели я так много выпил?

— Я люблю, — повторил Махмуд.

— Почему же ты так долго не сознавался? Или ты любишь женщину чрезвычайно высокого положения? Дочь визиря, быть может? У него три дочери, и они красавицы. Которая из них? И где ты ее видел?

— Она не дочь визиря.

— Аллах! Тогда она дочь халифа?

— Она не дочь халифа.

— Но она умна?

— Да. Ее наущением составлена моя речь перед визирем.

— Ого! Кто же она? Я не слышал в Багдаде о таких умных женщинах. Быть может, иноземка?

— Да.

— Жена какого-нибудь проезжего князя? Торговца из Индии? Наемного витязя? Строителя дворцов? Морского пирата?

— Она рабыня.

— Чья?

— Моя бывшая рабыня, а теперь жена. Я жду от нее ребенка.

— Та, которую купила госпожа Бэкдыль?

— Да.

— Та, которая упала на рынке головой вниз? Та, владелец которой был судим мною?

— Да.

Кади крикнул хозяину кофейни:

— Еще кружку вина!

И, не дожидаясь кружки, он хлебнул из тыквенной своей бутылки, а затем сказал, весело блестя глазами:

— Махмуд! Ты женился на ней благодаря моей сообразительности и тому, что я понимаю толк в женщинах, даже когда они лежат у меня в присутствии, словно грязная ветошь. И верь моей проницательности, Махмуд. Ты будешь с нею счастлив, и доживешь до глубокой старости, и будешь обладать богатством и почетом и, вдобавок, веселостью, которой владею я. Кружку тебе, Махмуд.

— Я не пью.

— За ее здоровье. Опустит губы в вино. Его губы сладки, как губы возлюбленной.

Махмуд прикоснулся губами к вину.

Кади Ахмет сказал:

— Я до сих пор не знаю, откуда она. Кажется, из Египта?

— Она из страны Русь.

— Вот как! Стало быть, она проезжала через Константинополь? Не училась ли она здесь?

— Нет, она училась у себя, в стране Русь.

— Вот видишь! И заставила визиря выслушать тебя, и приготовила тебе речь. Значит, не только в одном Константинополе царит ум и наука? Есть где-то и еще? Есть наука и в Багдаде, Махмуд. Надо лишь ее увидеть. И ты увидишь. Жена поможет тебе. Так ты говоришь, она из страны Русь? А ведь в Константинополе есть торговцы со всей Европы. А значит, есть торговцы и из страны Русь? Найдем их! Узнаем о здоровье ее родных... об ее стране. Ого! Смеешься? Видишь, и в Константинополе можно найти радость! Я рад за тебя, Махмуд, я очень рад за тебя. Любовь редка, береги ее. Выпьем? Пей, пей, теперь и аллах нам разрешает!..

### XXXIII

Джелладин задумчиво чертил прутиком на песке ровные линии. Резкая светло-лиловая тень навеса оканчивалась как раз на его тонких желтых руках и, казалось трепеща Закона, не осмеливалась двигаться дальше. Против него, прямо на горячем, словно плавящемся от солнца песке, сидел византийский чиновник в высоком войлочном черном колпаке, под которым лицо его казалось зеленым, похожим на неспелую дыню.

Византиец и Джелладин молчали, и видно было, что молчание доставляет им удоволь-



стве, и византиец с таким умилением глядел на ровные линии, проводимые Джелладином, словно чувствовал сквозь них какую-то дивную мелодию, над которой можно рыдать.

— Мир вам, — сказал Джелладин, не поднимая головы.

— Мир и тебе, — ответил кади, понимая, что между Джелладином и византийским чиновником произошло что-то важное.

Чиновник поднялся и, важно пожелав посланцам халифа спокойной ночи, ушел.

Джелладин, сровняв прутиком линии на песке, сказал:

— Корыстолюбивы. Все продажно. Много золота — много наемников. Привези ты больше золота, наймешь их вместе с их наемниками.

— Да, да! — подхватил кади. — Город большой, но мелочной. Ты уговаривался с чиновником о приеме нас императором?

— Нет, о другом, — неопределенно ответил Джелладин. — Он дорожится.

— Что — деньги? — молодежато воскликнул кади. — Они хрупки, как трава осенью.

— Деньги принадлежат Закону.

— Да, да! Но я не люблю борьбу деньгами. Легко поскользнуться, как на мокрой апельсиновой корке. — И кади продолжал: — Есть три вида борьбы. Или Исав, борющийся с богом, или Прометей — с Зевсом. Второй вид — борьба с наводнением или с саранчой, когда полезно призывать доброго духа Шерлаха. К этому же виду борьбы относится борьба на поле брани. И отчасти борьба деньгами. И, наконец, третий вид — борьба для забавы, из которой я больше всего предпочитаю.

таю борьбу на поясах. Видел ли ты эту борьбу, Джелладин?

— Видел. Мне было пятнадцать лет, и мои товарищи по школе боролись во дворе медресе. Я в тот день превосходно ответил учителю и позволил себе посмотреть на борьбу. Я был доволен собой.

— И борьбой, наверное?

— Не помню.

Кади вздохнул, с сожалением и страхом глядя на Джелладина, и продолжал:

— Первый вид борьбы, вроде борьбы Исава или Прометея, прельщает меня, но я слаб, боюсь, что не выдержу, и все откладываю борьбу. Второй вид борьбы доставляет мне меньше удовольствия. Привыкши размышлять над свершающимся, я опасаюсь, что, пока я выбираю лучшие способы борьбы, наводнение снесет мой дом, саранча сожрет мои поля, вражеский воин проломит мне голову, а что касается денег, то разорюсь я обязательно. Поэтому я наслаждаюсь невинной борьбой и весь дрожу от страсти, когда два борца таскают друг друга по земле. Пояса скрипят, от борцов идет пар и пот, и земля вокруг них влажная!.. Махмуд, я слышал, ты умеешь бороться на поясах?

— Работа у наковальни закалила меня. Но бороться мне приходилось редко: я все время работал или составлял стихи.

— Побеждал ли кто-нибудь тебя?

— Никто

— Видишь, Джелладин! — воскликнул кади. — Его никто не побеждал в Багдаде. Неужели ты допускаешь мысль, что его победят в Константинополе?

— А если мы победим византийцев? —

сказал Джелладин. — Они обидятся. Я узнал, что византийские войска недавно разбиты на Дунае русским князем Игорем. Византийцы просят у русских мира.

— Вот как!

— Византийцев сейчас лучше не раздражать.

— Я согласен с тобой, Джелладин. Тогда Махмуд будет бороться не с византийским борцом, а с кем-нибудь из гостей.

— Например?

— В предместье Маммы, неподалеку от нас, живут русские купцы. Русские ходят свободно. Мы сейчас шли мимо их подворья, они веселились, пели песни, и Махмуд услышал что-то знакомое... Джелладин, подумай! Византийцы узнают, что мы побороли русского богатыря. Доносят императору. Император пожелал нас увидеть. Ты говоришь императору все, что тебе приказал визирь...

— Мысль недурна.

— Вот видишь!

Кади Ахмет привык на суде читать мысли по лицам. Мысли Джелладина совсем не сложны. И кади решил пооткровенничать:

— А у нас есть частная заинтересованность в этой борьбе. У Махмуда подруга — русская, из дружины князя Игоря. Она хочет узнать, что делается в стране Русь.

— Это мог бы узнать и я, — пробормотал Джелладин.

«Через кого?» — хотел было спросить кади, но удержался. Понятно и без вопроса. Джелладин пообещал византийскому чиновнику золото, которое вложено в пояс Джелладина визирем. Чиновник выдал ему голову эмира Эдессы, указал на человека в Эдессе,

ведшего тайные переговоры с византийцами...

Кади Ахмет поспешно сказал:

— Так и должно быть. Русские купцы придут сюда, и ты порасспросишь их, о толкователь Закона! Подругу Махмуда зовут Даждья, она дочь князя Буйсвета... какие трудные имена!

Джелладин сказал:

— Мне не нужно имен. Зачем я буду вмешиваться в частные дела? Поручил ли вам это визирь?

— Нет.

— И спрашивал ли ты у него разрешения на упоминание имен?

— Зачем я буду лезть к визирю со всяческой мелочью?

— Ты же сам назвал этот город мелочным. Здесь всякая мелочь приобретает вид Закона.

— Но это просто любовь! Она хочет знать — что и как на родине?

Джелладин сказал:

— Любовь? Я не представляю себе, что такое любовь. И вам не советую. Визирь ничего не говорил мне о любви.

— Но он ничего не говорил и о борьбе на поясах!

— Борьбу на поясах я разрешаю. Но любовь... любовь, по-моему, глупость и вред.

— Сам пророк Магомет любил! — воскликнул Махмуд.

— Молчи, дурак, — сказал Джелладин. — Что ты знаешь о пророке? Поучись столько, сколько я, и тогда рассуждай!

Махмуд раздражал Джелладина. Он раздражал его своим громким голосом, важными движениями и тем, что никогда не советовался

с ним, как и где расположить на отдых конвой и какой соблюдать церемониал при встрече с византийцами. Поэт? Трезвонит и трещит. Песни о Багдаде иногда трогательны. Но все, что говорится о родине на чужбине, — трогательно. Кроме того, Джелладин не мог простить Махмуду его внезапного появления и речи перед лицом визиря. И теперь — победы Махмуд в состязании, дойдет его победа к императору, а значит, — дойдет и до халифа. Возможны награды от халифа... Но награды возможны и Джелладину, разрешившему борьбу с русским богатырем?

И Джелладин еще строже добавил:

— Смотри не вздумай свалиться в борьбе.

— Не свалюсь, — ответил, смеясь во весь рот, Махмуд. — Скорее ты свалишься от злости.

И, не слушая брани Джелладина, пошел мыть, со скуки, своего коня. Конь, подаренный ему визирем, был вороной, молодой, трепетно-неугомонный, и по совету кади Махмуд дал ему имя Пегас, хотя и не знал толком, что значит это слово.

#### XXXIV

Накануне, перед приходом русских, Махмуд спал плохо. То мерещился ему Багдад, его домик, крыша и синие глаза Даждьи. Ей скоро рожать. Как-то пройдут роды? Махмуд пытался представить личико своего ребенка — и не мог. Ему все виделся почему-то ребенок лет пяти, круглый, черноволосый, но с синими глазами — в мать... То вдруг с удивительной отчетливостью представлялись ему картины путешествия с убрисом, и особенно —

горы. Горы под скользящей среди туч луной — синим-сини. Дует ветер, и пламя огромных восковых свеч отклоняется, и видны расходящиеся пятна света, падающие то на камень, то на голову монаха, то на длинный посох, с которым идут священники. Золотые кисти балдахина очень чисты и кажутся слитками золота, ветер их двигает осторожно, точно пробуя их тяжесть...

Под вечер пришли русские купцы. В саду, возле фонтана, нашли площадку и стали ожидать кади Ахмета, который ушел еще с утра наполнить свою баклажку и не возвращался.

Русские были рослые, красивые люди, а богатырь Славко был на голову выше всех, и казалось, глядя на него, что и нет выше его людей в Константинополе, хотя по столице ходит очень много сильных и рослых людей. Махмуд был значительно ниже, но плечист и крепок на ногу, что в борьбе немаловажно. Махмуд глядел на русского богатыря, слегка побаиваясь, а того больше желая помериться с ним силой.

Хотелось и поговорить с русскими. Но византийский чиновник сказался не знающим славянского языка, хотя в Византии обитало очень много славян: они заселяли и Фракию, и Македонию, и Фессалию, и Эпир, и жили в Аттике и Пелопоннесе, даже возле самых ворот Афин, в Элевзине, были славянские поселения. Желладин, ссылаясь на занятость, обещал выйти только к самой борьбе. Конвойные, опасавшиеся влияния злых духов, которые невидимо стоят за плечами язычников, держались в стороне. Махмуд остался возле русских один.

Русские принесли с собой дубовый бочо-

нок с медом и угощались. Борцу меда не давали, чтобы тот не ослабел перед состязанием. Опасения эти подбодрили Махмуда. Понемногу он осмелел, подошел к русским поближе, стуча себя в грудь ладонью, сказал одному седоусому и, как ему думалось, самому почтенному и понятливому:

— Даждья!

Он знал, кроме того, и еще несколько слов, слышанных от Даждья, но все они относились к любви, и он боялся показаться старику легкомысленным. Он повторил:

— Даждья. Князь Буйсвет!

Старик сначала смотрел на него строго, но затем заулыбался и, показывая на восток, спросил:

— Даждья — у Багдади!

— Да, да. Багдад — Даждья!..

Старик начал было выпрашивать его, но тут прибежал кади Ахмет, исцарапанный, помятый. Новая одежда его была вся в заплатках. Он оттащил Махмуда в сторону и спросил:

— Ты что у них спрашивал?

— Говорил о Даждье...

— Так я и знал! Зачем торопиться, зачем? Что, ты не мог подождать меня?.. А в рассуждениях Джелладина есть доля правды. Это очень печально, но его надо опасаться, Махмуд.

— Я ей обещал!

— Мало ли что мы обещаем женщине! — И он сказал, оглядывая себя: — Я знал, что одежды снимаются. Но я не подозревал, что они делятся на столько частей! Я начал уже было думать сегодня, что между мной и голым человеком трудно найти различие...

— Тебя били, кади? Кто?

— Ах, Махмуд, женщины так неосмотрительны и так легкомысленно назначают свидания! Бить? Меня хотели бить, но я подставлял византийцам другую часть тела, противоположную той, которую они хотели бить! И, таким образом, они были опозорены и обмануты. О, я их отучил драться!.. Женщина, правда, была недурна, вино — превосходно, и я выпил его столько, что не смог заплатить! Кто они? Этот вопрос был бы отвлекающим в сторону, если б я сейчас не догадался, что меня били справедливо.

Он поднял многозначительно палец вверх и тихо сказал:

— Она живет возле храма святого Ильи, и когда приезжие не отвлекают ее от основной работы, она шьет. Она — швея!

— И что же?

— А то, что благодаря ей я сделал величайшее открытие, за которое визирь будет мне несказанно признателен. Он был прав, этот визирь, советуя мне наблюдать! Все сделано, Махмуд, мы можем возвращаться спокойно. Она зашивала мне изорванные в драке штаны и полу кафтана... Я взглянул... О Махмуд! Я захлебываюсь от счастья! Я открыл...

— Тайну «греческого огня»?

— Больше! Гораздо больше! Пусть поднимет тебя в твоём состязании мое открытие, оно очень велико. Я не открою пока тебе этой тайны, но помни, Махмуд, что Багдад отныне непобедим!

Появился Джелладин.

— Начинайте борьбу, — сказал он.

**Борцы схватились.**



Теснили друг друга к краям площадки, обсаженной самшитом, позади которого высились кипарисы. Выкидывали на середину. Волочили, быстро и легко дыша, через всю площадку. Взрыли землю, обнажив корни деревьев, и сразу же, ногами изучив расположение корней, стали на них опираться, а затем и вырывать. Русский приподнял, оторвав от земли, араба. Араб пальцами ног ухватился цепко за корень. Русский рванул, и корни потащили за собой кусты самшита. Русский отбросил ногой кусты в сторону, но ему для этого надо было скосить глаза, а в это время араб уже оторвал его от земли, дернул в воздух... Толпа охнула:

— Перун!

— Аллах!

Русский изловчился, и опять он на ногах. Опять тискают, таскают, крутят, вертят. Упали оба на кипарис, и высокое дерево зашаталось, покренилось.

Толпа, тяжело содрогаясь, яростно дышит! Даже византийский чиновник, потеряв самообладание, сорвав с головы черный колпак, мнет его в руках и кричит:

— Русь, Русь, хорошо! — И через мгновение: — Араб, араб, хорошо!

В самый разгар исступленной схватки, когда зрители, дрожа от волнения, жадно ловили и расценивали каждое движение борцов, когда опустел не только дом, но и весь квартал, а деревья сада и окрестные крыши были усеяны любопытными, и мальчишки визжали так, что их слышал весь Константинополь, сквозь толпу пробрался розовый живчик юноша. Живчик что-то быстро прошептал на ухо седоусому почтенному русскому.

Русский старик громко крикнул.

И тогда русский богатырь вдруг снял свои руки с пояса араба.

Махмуд глядел на него недоуменно. Разве нарушено какое-нибудь правило? Или кончился срок? Ведь борьба назначена без срока!

А русский, пошатываясь от злости, но послушный, шел за своим стариком.

— Куда он? — спросил Махмуд, шагая за русскими.

Византийский чиновник преградил ему путь и сказал:

— Сенатор и друг императора господин Аполлос, уважаемый и почитаемый, пригласил к себе немедленно русских купцов.

Чиновник направился к своей скамеечке возле ворот, а кади Ахмет сказал:

— Говорят, князь Игорь потребовал немедленной выдачи своих задержанных византийцами купцов, грозя в ином случае прервать переговоры. Жаль! Борьба была славная.

Джелладин повернулся к Махмуду и злобным, свистящим шепотом прошипел:

— Бороться б тебе смелей и лучше, русский лежал бы на траве, а нас бы уже пригласили к императору. О, сын шакала и гиены!

— Я?..

Махмуд схватился за меч. Джелладин побежал в дом, проклиная самоуправца, а кади Ахмет сказал:

— Никогда не нужно обнажать оружие против Закона, даже когда Закон злится. — И вздохнул: — Но мне все-таки печально, что ты не зарубил его. Он становится отвратительным. Еще твоё счастье, что он не знает и

не узнает, о чем ты говорил с русскими купцами.

— Они вернутся?

— Кто?

— Русские. Я хочу бороться.

— Где хочешь ты, там не хотят византийцы. Я думаю, что русские не вернутся.

— Но поняли ль меня русские?

— А зачем? Печальней, что ты не узнал, как живут родственники Даждьи в стране Русь. По-видимому, мы скоро вернемся в Багдад, и хорошо бы облегчить твоей жене роды, привезя ей весточку с родины. Не знаю, каково тебе, а я уже тоскую по своей старухе. Да, мы скоро вернемся, Махмуд.

Но вернулись они не скоро.

Три месяца ждали они встречи с императором. На четвертый им сказали, что император отсутствует, а их примет друг императора, сенатор господин Аполлос. Господин Аполлос говорил с ними ласково, однако подарки его были жалки. В заключение приема он пожелал посланцам халифа счастливого пути и сообщил, что вслед за ними к халифу едет особое посольство, которое везет письмо императора, дары и пожелания вечной дружбы между Византией и Багдадом.

И они направились в обратный путь.

В тот день, когда они покидали Константинополь, император Константин в своем загородном серо-зеленом, цвета морской волны дворце, составив текст письма к багдадскому халифу, передавал особые пожелания, которые посол Византии, сенатор Аполлос, должен был высказать халифу после аудиенции. Император был гневен. Впереди византийских пленников, которых нужно было потре-

бовать у багдадцев, приходилось называть имя киевской княжны Даждьи, попавшей в Багдад благодаря оплошности domestика схол Иоанна Каркуаса. Так требует князь Игорь! Откуда он знает, что Даждьи в Багдаде? И почему domestик схол Иоанн не знает, что Даждьи была у него? Domestik схол по-прежнему уверен, что среди нескольких русских женщин, которых он обменял багдадцам на коней, не было никакой княжны. Ему не верили. Он был уже в немилости. Считалось, что в тайных сношениях с эмиром Эдессы он вел себя глупо, что он дорого заплатил за эдесскую святыню, которая так и не принесла победы.

— И откуда русские могли узнать, что Даждьи в Багдаде? — повторил свой сердитый вопрос император.

Никто не мог ответить ему.

Разве только Махмуд.

Но не к Махмуду был обращен гневный вопрос императора. Император гневался на русских, гневался на Багдад и опять на русских, с которыми ему пришлось подписать вечный мир — «дондеже солнце сияет, и весь мир стоит, — в нынешние веки и в будущие». Он страшился этих врагов, одному из которых он должен был платить теперь дань, которую платил некогда князю Олегу. И он не знал, как их облукавить, и как задарить, и как устрасить!

### XXXV

Махмуд далеко разглядел Даждью. Она опять стояла на крыше его дома! И он громко рассмеялся. Он скакал один, конвой был

распущен, и он жалел, что не мог поделиться своей радостью ни с конвоем, ни с кади, который утверждал, что уже близко полнолуние и ему пора домой. Она скользнула рукой по лицу, словно все еще не веря, что видит и его самого, и его вороного коня... Какое милое движение и как он хорошо помнит его! И он опять рассмеялся.

Было утро.

И утро было на его душе.

Стройная и массивная, — уже мать, — с тонкими и длинными волосами цвета спелой соломы, будто наполненными солнцем, со свежим и нежным лицом, которое освещалось плавным светом синих глаз под ровными и словно лощеными бровями, Даждя легко пробежала через весь дом босая и, подбежав к нему, — он еще не успел спрыгнуть с коня, схватила его шею руками. Воображение всегда представляло ему ее красавицей, но оно слабо показывало ее, как слабо показывает свет свечи окружающие предметы. Это было — солнце!

И он смутился, ошеломленный этой красотой, распространяющей вокруг себя такую благосклонность, такую ласку! Мать Бэкдыль и его брат выбежали и смотрели то на него, то на нее, безмолвно повторяя: «А, она цела! Ты доволен?»

— Я доволен! — сказал он. — Где же мой ребенок?

— Дочка, — ответила госпожа Бэкдыль. — Но хорошая дочка. Будут внучата — войны. Будет много внучат!

Госпожа Бэкдыль по-прежнему была полна тайными мыслями. Да, когда-нибудь две рабыни будут стоять позади, ожидая прика-

зания матери Бэкдыль и старшей жены Дажды. Правда, Махмуд и Даждя, по ее словам, собираются уехать погостить в какую-то далекую, холодную страну Русь. Ну что ж! Их будет сопровождать, будем надеяться, не скудный эскорт, а пристойное для важного лица украшение из трех закутанных в покрывала жен, которые, поблескивая глазами, будут любоваться, как господин их едет впереди каравана!..

— Будет много внучат, — повторила мать Бэкдыль, идя впереди сына.

Он глядел в колыбельку. Они были одни. Мать и брат ушли готовить завтрак. Ребенок спал, сжав розовые губы. Махмуд наклонился и поцеловал дочку прямо в губы. Даждя прошептала:

— Тише, разбудишь! У нее такой чуткий сон.

И она обняла его опять, прошептав:

— Ты хотел сына?

— Я доволен и дочерью.

— Но все же ты хотел сына.

— Надеюсь, будет и сын, — сказал он, тихо смеясь.

— Не сын, а ты прибьешь щит к Золотым Воротам. Ты видел Ворота?

— У византийцев много ворот, — сказал он. — Они их любят строить. Золотые Ворота не крупнее других.

— Но на них был щит Олега.

— Да, был щит.

Она почувствовала в голосе его усталость.

— Что случилось?

Он рассказал ей о Джелладине, о своей ссоре с ним и о ссорах, которые повторялись

часто во время дороги. Старик окончательно возненавидел его.

— Пустяки, — сказала она. — Ты ведь не собираешься быть придворным или законоведом? Ты — поэт. Ты — воин. А он?

И она начала выпрашивать о Константинополе:

— Видел ли ты князя Игоря?

— Он не был в Константинополе.

— А его послы?

— Я их видал издали. — И он рассказал о своей незаконченной борьбе с русским богатырем, рассказал и о седоусом старике.

— Знаю, знаю, Славко. Он очень сильный. Пожалуй, тебе б... — Она взглянула в его глаза, прочла там недовольство и быстро сказала: — Нет, ты победил бы его! Но скажи мне, почему они не прибили щит к Воротам?

— Я не знаю.

Она воскликнула:

— Византийцы опять обманули русских! Щит, а не дань! Щит!.. О Перун! Опять ты обманут хитрым византийским богом. А ты еще... — обратилась она к нему, сверкая глазами, — ...ты еще вез к ним святыню! Ты должен был ночью подкрасться к ней и изрубить ее. Пророк запрещает вам покровительствовать идолам, а ты покровительствовал.

И, впав в отчаяние, она наговорила много дерзких слов самой себе. Она была виновата в том, что эдесская святыня благополучно прибыла в Константинополь! А она так долго ждала мести. Ее мысли казались ей пророческими. Она видела поверженную Византию, окруженную с одной стороны войсками халифа, с другой — Русью. И в мечтах ее

Византия виделась как упавшее дерево. Она лежит, уставив в небо растопыренные ветви своих башен, рвов, укреплений, которыми теперь ни поддержать дерево империи в равновесии, ни охранить.

— И ничего этого нет!

Византия стоит по-прежнему, растопырив мощные ветви своих укреплений, замков, рвов и башен, стоит, тихо посмеиваясь, как человек, делающий свое дело. Не поехать Дажде в свою страну с возлюбленным! Нужно забыть белые, песчаные берега Днепра, теплые ивы, тесно прижавшиеся друг к другу. Хороши здесь деревья в садах Багдада, но они стоят каждое отдельно, и нет здесь густых сплошных лесов, как у нас!..

Мечь, мечь, мечь! Упорно и настойчиво держала она мечту о мести, воспитывала, лелеяла в себе. Мечь просачивалась сквозь нее всю.

А теперь? Византийские послы едут с льстивыми грамотами. И обманут! И будет мир. И византийцы перебьют поодиночке русских и арабов.

— Едут послы. Халиф будет принимать их. И ты будешь говорить им приветственное слово?

Он расхохотался:

— Ты слишком много и высоко обо мне думаешь. Кто позовет меня во дворец к халифу? И почему халиф скажет: говори, Махмуд! Ха-ха! Джелладин наговорит теперь про меня так много злого, что не видать мне ни халифа, ни визиря. Жена моя! Пожив в Константинополе, я понял, что такое двор. Наши мечты с тобой, оказывается, не так-то легко исполнить...



— Какие мечты?

— О щите.

— Вот как!

— И как я жалел, что не могу наслаждаться мгновениями, подобно кади Ахмету.

— А он наслаждался и с женщинами?

Махмуд покраснел:

— Я совсем не об этом!

— Да, да! Вас только отпусти, — сказала она, смеясь и целуя его в шею. — Вот поедешь во дворец, прославишься, забудешь, развращенный Константинополем, меня. И тогда мне будет плохо, совсем плохо. — И глухим голосом она сказала: — Тогда я умру. — И тотчас же быстро сказала, стараясь рассмеяться: — Прости, прости! Я поглупела, но только от радости, только от радости!

### XXXVI

Халиф ожидал визиря.

Грузный, крупный старик со свисающими на короткий воротник рубашки из верблюжьей шерсти складками толстой шеи, поджав под себя ноги и часто вытирая платком выпяченные серые губы, сидел в беседке сада на земле. Перед ним стоял низкий столик, грубый глиняный кувшин с водою и деревянное блюдо с финиками. Халиф, подобно Омару, великому наследнику пророка, любил простоту в обыденной жизни и сильные выражения.

— Куда пропало это блеклое животное? — бормотал он.

Сквозь кусты полураспустившихся роз видна была черная дорожка сада, высокая стена, выкрашенная синим, и кусок яркого серозеленого неба. Опять приближалась весна, и

опять за стеной кто-то проезжавший мимо напевал: «Я приду к Тебе».

«Дети! Пусть поют», — думал халиф. Но все же песня раздражала и мешала думать. А дум было много, и хотелось поделиться ими с визирем. Злили козни вассалов, мешавших единению халифата, и злил эмир Эдессы, вот уже полгода твердивший, несмотря на все пытки темницы, что он не вел тайных переговоров с византийцами. Неизвестно, обнаружили ли мудрецы и мастера вооружения секрет «греческого огня». Вот уже два года заперлись они в замке под Багдадом, на берегу Тигра, что-то жгут, плавят, пробуют, посылают гонцов во все края страны, ищут жидкую серу... И непонятно, с какими мыслями и зачем едут в Багдад византийские послы. Хотелось думать хорошее: вот возьмут да и пропустят в Европу суда халифата с индийскими товарами, а из Европы к Багдаду разрешат ездить с итальянскими и другими товарами, с медью, железом, оловом свинцом...

— «Я приду к Тебе...» — пел удаляющийся голос.

— Да иди же скорей, глупец! — сказал громко халиф.

Приближающийся визирь, подумав, что слова относятся к нему, прибавил шагу и засеменял, кланяясь и касаясь руками земли.

— О владыка! Меч ислама! Гроза...

— Перестань, — прервал его халиф. — Далеко ли византийцы?

— Еще ночь, и они будут в Багдаде, — сказал визирь деловито. — Прикажешь задержать?

— Зачем?

— Повелитель, быть может, хочет осмот-

реть все пышные и неслыханные украшения дворца, сада и улиц столицы. Повелителю, быть может, угодно высказать свои желания? Мы привезли пятьсот десять диких зверей, войска; вдоль улиц будет выстроено сорок три тысячи воинов, не считая евнухов и невольников. На Тигре будут стоять морские суда...

— Ну и пусть торчат!

Халиф посмотрел на визиря тусклым взглядом давно выцветших глаз и, медленно вытирая рот платком, спросил:

— Скажи лучше, узнал ты, зачем едут сюда византийские послы?

— Согласно приказу повелителя, в Константинополь были посланы люди, способные к малому узнаванию. Повелитель не хотел раздражать византийцев пытливостью...

— Но все же они, посланные, ведь не совсем уж дураки? Как ты думаешь, пропустят нас византийцы в Европу? Игорь побил Византию, заставил платить дань, как при Олеге. Византийцы ослабели. Они должны искать дружбы с нами. А что за дружба, если они преградили нам путь в Европу? Пусть откроют путь, или — война!

— Война, — наклонив голову, грустно сказал визирь.

— Но разве они едут с войной? Или они предполагают словами, точно волшебники, заворожить меня? Мы тоже умеем говорить и думать.

— О повелитель, и еще с какой силой!

По лицу визиря было видно, что он не знал, с чем едут византийцы.

Халиф сказал недовольно:

— А «греческий огонь»? Если война, мы должны сжечь много вражеских судов. Пока,

я вижу, вы жжете их на словах и плавите мои деньги.

— Повелитель...

— Быстрее!

— Мудрецы открыли секрет огня, повелитель!

— Покажи.

— У них беда: мало основного состава. Дознано, что византийцы привозят основной состав «греческого огня» с гор Кавказа, где Зевсом был прикован Прометей. Там и поныне живут дикие племена, поклоняющиеся огню. Поэтому мудрецы повсюду в нашей стране ищут основной состав и утверждают...

— Нашли? — грозно прохрипел халиф.

Визирь ответил поспешно:

— Нашли, нашли, повелитель! Не минует и месяца, как три бочки «греческого огня» будут доставлены в Багдад.

Халиф испытующе посмотрел на визиря:

— «Я приду к Тебе»?

— Нет, нет, это не пустая песня, о повелитель, а истина. Клянусь моей недостойной головой...

— Запомню. — И, помолчав, халиф спросил: — Кстати, о голове. Эмир Эдессы...

— Сознался!

— О! Почему?

— Джелладин привез доказательства. Мы схватили передатчиков эмира, и они выдали его.

— Отрезать всем головы.

— Сегодня же...

— Не сегодня, а завтра, когда византийские послы будут возвращаться из моего дворца. Пусть они посмотрят, как падает голова их слуги. Им это полезно.

— Еще бы, о повелитель!

— Джелладин? Кто бы мог подумать! Научился у византийцев? Обо что трешься, тем и пахнешь, а, ха-ха? Я награжу Джелладина. И тех двух... как их?

— Кади Ахмет и оружейник Махмуд иль-Каман, повелитель.

— Да. Позови их всех на прием византийских послов. Собери также всех выдающихся ораторов, законоведов и поэтов, которые в присутствии послов в своих речах и стихотворениях превознесли бы славу и силу ислама, мое царствование и величие моего дворца. Слова — так слова!

И он задумался.

Была ранняя весна, и сквозь трепетные тучки падал мерцающий блеск на влажные, готовые распусться почки розовых кустов. В саду было тихо, и казалось, что даже нетерпеливая весна и та задумалась вместе с халифом.

«С чем же едут византийские послы?» — думал халиф, и о том же думал визирь.

### XXXVII

Послы несли через весь Багдад послание византийского императора халифу.

Из особого уважения к халифу послы шли пешком.

Впереди послов шел Аполлос, сенатор и друг императора. Это был желтолицый, худой мужчина лет сорока в длинной серебристопалевой одежде без складок. Глаза его, огромные, агатовые, казалось, испускали скользкий и жалящий блеск, и, когда он пренебрежительно оглядывал толпы народа,

запрудившие улицы, всем видна была его ненависть, и все начинали дрожать от ярости. У него была привычка, тоже всех сердившая: сказав три-четыре слова, Аполлос умолкал так важно, точно ожидал, что ему будут восклицать — слава!

Перед дворцом задолго выстроились войска, и шумный народ говорил, что войска выстроено сто пятьдесят тысяч.

Послы вступили в ряды войск. И войска, все сто пятьдесят тысяч копий поднялись на воздух и опустились на землю с такой силой, что гром был подобен землетрясению. Так говорил народ.

И послы увидали тысячу тонких и светлых минаретов Багдада. И со всех минаретов пять тысяч муэдзинов запели хвалу пророку и наместнику его халифу, и народ говорил, что пение их было подобно второму землетрясению.

Но лица послов были неподвижны, и ни один волос на их голове не шелохнулся.

И они увидали зеленый дворец. На площади, перед дворцом, семь тысяч евнухов в шелковых разноцветных одеждах и изукрашенных поясах — четыре тысячи белых и три тысячи черных евнухов — безмолвно склонились, и поклон их, как говорил народ, был такой ровный, точно поклонились семь тысяч братьев.

Послы вошли в сад дворца. На лужайках они увидали стада диких животных. Львы и олени, прирученные искусными охотниками, направились к послам. Сто львов издали рычание, а двести оленей вознесли вверх свои широкие рога и протрубили.

И это, как говорил народ, было подобно третьему землетрясению.

Но лица послов были по-прежнему неподвижны.

Их вели мимо позолоченных клеток. Множество птиц с позолоченными перьями и клювами пели.

И тогда старший посол Аполлос, сенатор и друг императора, сказал:

— Вот это очень красиво, — и добавил: — Великолепный дворец у халифа.

И он улыбнулся. И тогда улыбнулись все послы.

Визирь сказал:

— Господин посол! Вы видите не дворец халифа, а только мою жалкую хижину. Дворец халифа за этим садом, вон там, где за деревьями колышутся ковры.

И они пошли дальше.

Темно-пурпурный дворец халифа сверху донизу был закрыт коврами. Ковры были и голубые, и розовые, и синие, и белые, ковры всех цветов и всех провинций халифата. Народ говорил, что там висело двадцать две тысячи великолепных ковров, а три тысячи занавесей из парчи и индийского шелка, стоящие тридцать тысяч динаров, украшали все внутренние стены и двери здания.

Халиф ал-Муттаки-Биллахи сидел на троне слоновой кости. На нем был надет простой плащ бедуина, тот, который, говорят, носил великий Омар. С правой и левой стороны трона висели и сверкали на солнце по девять длинных тяжелых нитей драгоценных камней. Позади и впереди халифа стояли евнухи, а вожди племен и родственники поодаль нитей с драгоценными камнями. А еще даль-

ше стояли, содрогаясь от восторга и славы, законоведы, кади и поэты.

И там же стояли Джелладин, кади Ахмет и Махмуд.

Византийский сенатор и друг императора Аполлос поцеловал землю и сказал, что он принес могучему халифу послание императора.

— Читай, — проговорил халиф.

Сенатор Аполлос снял шелковую желтую материю с серебряного ящика с золотой крышкой, на которой было сделано из разноцветного стекла изображение императора Константина. Сенатор раскрыл ящик и достал послание. Послание было начертано на пергаменте небесно-голубого цвета золотом, греческими буквами, и к нему прикреплена золотая печать в четыре мискаля весом, на одной стороне которой был барельеф Христа, а на другой — императора.

Посол огласил первую строку по-гречески, тотчас же переведя ее на арабский язык:

— Константин Седьмой, верующий в мессию, император, владычествующий над греками.

Он помолчал, поводя огромными глазами и точно ожидая восхвалений.

— Халифу ал-Муттаки-Биллахи, могучему повелителю арабов в Багдаде. — И опять помолчал. — Да продлит господь бог жизнь могучего халифа!

Огромные глаза его остановились на жирном лице халифа, и он продолжал:

— Слава богу!.. Всесовершенному, великому!.. Милосердному к своим рабам... Тому, кто собирает народы... Кто разъединяет... и



примириет их... спорящих во вражде... до тех пор... пока они... не соединятся воедино...

Сенатор Аполлос читал и читал голубой пергамент. Послание плескалось в руках посла, насыщая сердце халифа такими словами, которые мог найти лишь человек, необычайно долго лазивший по лестнице мыслей. Слова ласкали, нежили, лечили, лили масло и елей на душу, макали уста слушателей в мед и наслаждения. Они уверяли халифа в дружбе, расположении, вечном мире.

«И все?» — думал халиф, как и послы храня недвижимое лицо.

Затем сенатор Аполлос взял другой драгоценный ящик и достал оттуда желтый пергамент, по которому было написано по-арабски серебряными буквами перечисление даров, которые посылает император Константин своему брату халифу. Тут был и золотой поднос для кушаний, и дорогие одежды, и золотая посуда, и мускус, и амбра. Под конец посол подал халифу три небольших золотых стакана. Халиф скосил глаза, принимая их. На дне стаканов он увидел стада крошечных хрустальных зверей: львов, оленей, жирафов и рысей, расположенных в том же порядке, в каком звери эти встретили послов в саду визиря.

— Редкого умения у вас ювелиры, — сказал халиф, а про себя подумал: «А еще более редкие соглядатаи! И неужели тем, что вы знаете расположение зверей в саду моего визиря, вы думаете сказать мне, что знаете все происходящее в моей стране? Глупцы».

Но лицо его по-прежнему было неподвижно, и посол не мог угадать, понял халиф на-

мек византийцев или не понял. И, приняв дары, халиф сказал:

— Велик аллах и пророк его! Я напился дружбы брата моего Константина и наполнен любовью к нему, как виноградная лоза солнцем. Я не могу надеяться, что найду слова, которые бы передали наружу лежащее внутри моего сердца. И я призвал лучшего своего законоведа Джелладина Жете-и-Тогос, чтобы он, ловитель мыслей, подмел своими и моими словами пол у ног моего друга, императора! Слова наши немногочисленны счетом, но совершенны и справедливы, и я трепещу от радости, что почтенный Джелладин выскажет их!

Рокот одобрения пронесся среди родственников, вождей племен, законодателей, кади и поэтов. И все обернулись к Джелладину.

Джелладин, шатаясь от волнения, в широкой и длинной одежде, пробрался через толпу и приблизился к трону. И все качали головой, одобряя его вид. Как он талантлив! Говорят, благодаря ему сегодня обезглавят эмира Эдессы?

— Халиф, да будет прославлено имя его!.. — начал Джелладин, и голос его поднялся так высоко, что казалось, поздоровался в небе с самим пророком.

Мороз прошел по коже присутствующих. Какое великолепное начало, как умеет начинать!.. Каково-то продолжит?

Но продолжить Джелладину не пришлось. Архангел запечатал уста его. Джелладин покачнулся и упал,

Он лежал в глубоком обмороке у ног халифа, а халиф с неподвижным лицом проговорил:

— Так велика любовь наша к брату нашему Константину, что сердце одного, даже лучшего законоведа Багдада, не в состоянии высказать ее. Желладин — великий законоучитель. Он река законоучителей...

Халиф обвел взором своих тусклых глаз всю толпу придворных. Взор его остановился на кади Ахмете, рыжая борода которого горела возле Махмуда. Халиф сказал:

— Брату моему императору Константину отвечала река. Но и река остановлена плотной восторга. Она остановилась, увидев море. Ты море мудрости, кади Ахмет, продолжай речь!

Кади Ахмет вышел:

— Халиф, да будет прославлено имя его! — начал он.

И он остановился.

— Да будет прославлено имя его! — повторил он, уцепившись обеими руками за свою бороду. — Халиф...

И у него, от величия и великолепия обстановки, от неожиданности и от радости, что свалился Желладин, прервалась нить мысли, и знаменитый оратор остановился, тщетно стараясь вспомнить то, что надлежало сказать в подобном случае.

И тогда выступил вперед Махмуд иль-Каман.

Визирь наклонился к халифу и тихо сказал:

— Это тот искусный ремесленник и поэт, о повелитель, который воспламеняюще говорил у меня о Византии и эмире Эдессы, назвав его предателем.

Халиф так же тихо пробормотал:

— Двое онемевших от восторга — недур-

но. Но если онемееет третий, — получится, что у меня все подданные идиоты, обалдевшие при виде двора.

Халиф предпочитал сильные выражения.

### XXXVIII

И халиф сказал, обращаясь к Махмуду:

— Эй ты, соблазнительный урод! Сунь нам, сын тины, свойственные тебе соображения!

И он откинулся на спинку трона, довольный своим словом. Он находил, что с подданными иногда полезно обращаться так же, как с конем, закусившим удила.

Махмуд, весь дрожа, чувствуя себя расточительным, но в то же время разумным и ровным, твердо подошел к трону халифа и встал на то место, где только что стоял Джелладин. Сладчайшим, звонким голосом, глядя прямо в мутные глаза халифа и в его выпяченные серые губы, Махмуд говорил о славе Багдада, о красоте его, о его спокойствии, о согласии, о смелых его воинах, о резвых его конях и о той славе, которая упадет на тех, кто дружит с Багдадом. Он говорил слова скромные и скупые, но ставил их в такие сочетания, могучие и высокие, что они казались скалами.

«Недурно, совсем недурно, — бормотал про себя халиф. — Но не мешало б и припугнуть византийцев. Слишком многое они себе позволяют! Золотой стакан, а внутри звери? Мои звери? Пусть бы он сказал, что оружие наше на врага — готово!.. Неужели не скажет, сын тины?»

Махмуд не сказал.

Он воспел Багдад, но ему и в голову не пришло, что пора припугнуть византийцев. Ему казалось, что он научился придворному обращению в Константинополе, и он забыл, что сердце поэта — самый правильный сборник церемониала. Сердце приказывало ему надсмеяться над византийцами. Жена ему советовала то же самое. Она говорила, что, если халиф и аллах дадут ему слово, это слово должно быть смелым! Душа его ненавидела византийцев, но он глядел в глаза халифу, слушал его слова, полные дружбы и любви к Византии, и ему казалось, что если он умолчит о Византии, прославляя лишь один Багдад, то и это будет смело!

Но как бы то ни было, он сказал блестящую речь, заключив ее великолепным стихотворением, в котором, еще более возвышенно, повторил свои мысли о Багдаде.

Халиф по окончании речи сказал, обращаясь к визирю:

— Он говорит темновато, но он не усыпляет, этот перл овчарни! Наградить его, уместно случаю.

Махмуду поднесли одежды, плоскую золотую чашу, до краев полную монетами.

И халиф сказал:

— Кстати вспоминаю, тождественное происшествие случилось со мной во времена моей молодости, при покойном халифе ал-Мутанаби.

И он передал собравшимся короткий рассказ о происшествии в пустыне, когда он шел в поход против одного взбунтовавшегося турецкого племени. И византийские послы, и арабские сановники слушали его, вытянув вперед головы, изображая на лице охотное и

живейшее внимание. Когда они заговорили громко, прославляя халифа как выдающегося поэта и рассказчика, халиф улыбнулся и пригласил их на пир.

— Будем кутить, как молодожены, — сказал он, любя крепкие выражения.

Махмуд, получив подарки, спросил визиря:

— Могу ли я, о визирь, просить — отправить эти подарки матери, чтоб она насладились, так как для меня достаточно лицезреть халифа?

И визирь одобрил его, и пять евнухов отнесли подарки к госпоже Бэкдыль, крича в толпу:

— Дорогу, дорогу! Подарки от халифа — да будет прославлено имя его! — знаменитому оратору и поэту Махмуду иль-Каман. Дорогу, дорогу!

Слова эти издали услышала мать Бэкдыль. Она приняла подарки еще в начале улицы, на которой стоял ее дом, и, взяв три небольшие горсти монет, потому что руки ее высохли и сжались на работе, пошла на базар. Был еще день, пир только начался, а госпожа Бэкдыль уже купила двух невольниц и пять коз, ибо она давно ждала это добро, и в простоте сердца думала, что и все ждут этого же добра.

Госпожа Бэкдыль купила девушку именем Чооны. Она была родом из Афганистана, где высокие горы и где нужно обладать большой выносливостью, чтобы ходить по этим горам. Торговец уступил ее по сходной цене, так как мать Бэкдыль сказала ему о славе сына, да и весь базар уже знал об этой славе и о подарках халифа. Кроме того, старуха торго-

валась яростно и выпустила столько слов, сколько торговец не слышал за всю свою жизнь. Рабыня была широкобедренна, точно раковина, разговорчива и сыпала слова, словно рис из мешка. Она умела ткать, и по ее бедрам мать Бэкдыль заключила, что часы с нею будут приятны и просты, ибо она плодородна.

Мать Бэкдыль купила также рабыню именем Гахара. Она была родом из Греции, с архипелага. Ее привезли с трудом, она была еще совсем не укрощена и не понимала Багдада и его прелестей. Сильная, рослая, она при наслаждениях, видно, наливаются кровью, как петуший гребень, и ты испытываешь радость, словно трубящий рог! И эту рабыню мать Бэкдыль приобрела дешево и радовалась своей покупке.

Мать привела рабынь в дом и сказала Даждь:

— Вот тебе няня для ребенка, и вот тебе другая для помощи. Они будут подчиняться тебе.

Даждья, побледнев, спросила:

— Но будут ли они подчиняться мне во всем, что я потребую?

— Да. Так указано пророком, — сказала мать Бэкдыль. — Ты будешь старшая.

— Старшая среди жен?

— Да, старшая среди жен.

Даждья сказала:

— А если я прикажу им покинуть мой дом?

— Ты поступишь, милая, глупо и против Закона.

— А если этого пожелает мой муж?

— Твой муж не может пожелать этого. Он — правоверный, — сказала гордо мать

Бэkdыль. — Как ему идти против велений пророка, который приказал всем оружием умножать род правоверных, а эти женщины — наиболее доступное и приятное оружие!

Тогда Даждя сказала:

— Мать! Была ли я тебе послушна?

— Ты всегда была мне послушна, милая, иначе зачем же мне покупать тебе это облегчение?

— Мать! Ты думаешь, эти девки для меня облегчение?

— Разумеется. Они будут облегчать твою работу. В конце концов опасаясь, что мой сын чересчур страстен и он утомляет тебя.

— Мать! Помоги мне! Отпусти этих женщин.

— Нет, я не могу их отпустить.

— Тогда их отпустит Махмуд!

Даждя ушла в темную мастерскую, села возле горна и стала глядеть на ворота глазами более сухими, чем пыль на этих поникших мехах. Она чувствовала себя пустой, пыльной, одинокой и старой. Ребенок просил груди, она накормила его, но сердце ее не смягчилось. Ей хотелось домой, но она чувствовала, что дом ее, и Днепр ее, и Киев ее так далеки!..

Однако они были близки.

Халиф пригласил к своему столу сенатора Аполлоса, предложил ему чашу душистого вина и сказал:

— Я думаю вот весь пир и никак не могу придумать, что бы такое поднести в подарок другу моему, императору Константину? Что он любит?

Сенатор ответил:



— Император доволен всем... у него... все есть...

Халиф с наивным лицом ребенка сказал:

— Да, да! Я и забыл. Ему во всем помогает эдесская святыня! Я слышал, она очень помогла ему в борьбе с русским князем Игорем?

— Посланная тобой, о халиф... эдесская святыня... свершила множество чудес... — медленно ответил сенатор. — Что больше всего... любит император?.. Он любит справедливость.

— Мы все любим справедливость, — сказал халиф. — Но какого цвета он любит справедливость?

— Например... он любит освобождать... пленных...

— Я вернул всех византийских пленных. Осталось несколько полудохлых стариков, я прикажу их собрать.

— О халиф! Византийцы слышали, что в Багдаде находится пленная русская княжна Даждья, дочь Буйсвета, сестра витязей Силавида и Гонки.

— О, чудо! — воскликнул насмешливо халиф. — Эдесская святыня заметно изменила византийские нравы. Насколько мне известно, византийцы презирают женщину, считая ее скопищем зла, сосудом язв. Это мы, арабы, относимся к женщине с уважением, если она не рабыня, разумеется. Что случилось?

Уязвленный Аполлос сидел неподвижно. Еле шевеля губами, он ответил:

— Императору было видение.

— Я и говорю: эдесская святыня!

И, считая, что он достаточно отплатил за

ядовитый намек в виде трех золотых чаш с хрустальными фигурками зверей внутри, халиф наполнил послу чашу и, вытерев платком губы, замолчал. Он ждал, что скажет посол. Посол тоже молчал. Тогда халиф сказал:

— Княжна Даждья будет сегодня же у тебя.

И он уставил в лицо посла тусклый взгляд своих глаз. Он ждал, что посол передаст сейчас самое главное — разрешение Багдаду торговать с Европой. Какие условия? Все равно. Можно найти еще десяток святынь, подобных эдесской, но лишь бы торговать. Войны редко бывают выгодны для государства. Но еще более невыгодно подчиняться насилию.

И халиф решился высказать свою мысль.

— Подарки друга моего, императора Константина, — сказал он. — весьма прекрасны. Но, к сожалению, не хватает одного.

Посол молчал.

— Нам бы хотелось, — продолжал с раздражением халиф, — чтобы Средиземное море, лужа в великих владениях друга моего, было очищено от пиратов, мешающих нашим кораблям ходить в Европу. Мы просим друга нашего императора поднести нам этот подарок.

— Я передам императору... желание халифа, о могучий правитель!

«И все?» — спросил глазами халиф.

Лицо посла было, как всегда, неподвижно, огромные его глаза подернулись влагой волнения: он ощущал грозу, но не мог остановить ее. «И все», — ответили глаза посла.

Халиф встал.

Все поднялись.

— Продолжайте, продолжайте пир, — ласково сказал халиф. — Я хотя и молодожен, но все же стар, а вы молоды.

Все время пира Махмуд ждал, когда подойдет надлежащая пора и он прочтет то, что ему чрезвычайно хотелось теперь прочесть: о предстоящей битве с византийцами. Поэтому, чтоб не мешать дыханию, он едва касался пищи. Сидящий рядом кади Ахмет, бормоча, что это, быть может, единственный случай, когда можно поесть вволю придворных блюд, не понеся за это наказания, ибо придворный хлеб горек, набросился на еду. Пища действовала усыпляюще на обремененные длинной церемонией желудки. Кто-то дремал, а кто-то в полудремоте напевал.

Халиф шел через пирующих с непроницаемым лицом. Взор его на мгновение остановился на Махмуде и, словно процедив его, прошел дальше. Он забыл о поэте. Но вот халиф услышал полудремотное бормотание песни. Кто-то пел: «Я приду к Тебе!» Халиф, чуть скривив серые выпяченные губы, тихо, чтобы не беспокоить остальных, сказал с омерзением визирю:

— Отправить его на базарную площадь и дать пятьдесят палок. И пусть он под палками поет: «Я приду к Тебе!» Наказать также и того, кто составил эту песню. Мне нужны другие песни.

### XXXIX

— Дорогу несравненному поэту Махмуду иль-Каман! — кричали его поклонники, и все на улице расступались.

И Махмуд проезжал по улице на своем вороном коне в ало-синем индийском одеянии с расшитым золотом широким поясом. Он представлял себе, что будет, когда его любовь увидит это одеяние и эту свиту и услышит эти крики. Он спрыгивал мысленно с коня, целовал ее, — и все же он не торопился ехать, дабы не показать, что он ослеплен славой, а разумен и спокоен, ибо счастье людей зависит от аллаха.

Сопровождаемый толпой поклонников и уличных ротозеев, он въехал в услужливо распахнутые новыми друзьями ворота и придержал коня, дабы еще раз услышать возгласы:

— Слава несравненному поэту! Урагану слова — слава!

И он сказал, почтительно поклонившись матери:

— Сыта ли ты, о мать? Получила ли ты подарки?

— Я получила подарки, — ответила мать, — и я сыта. Но хорошо ли накормили тебя во дворце, иначе я прикажу изготовить для тебя обед. Тебя накормят рабыни, — произнесла она с гордостью.

— Какие рабыни?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я купила двух рабынь. Пойди посмотри их.

И она указала на двух рабынь, которые вышли на шум, также на топот копыт коня своего нового повелителя. Спускался уже вечер, и мать взяла масляную лампу, чтобы лучше осветить их лица. Одна рабыня была яркого, не золотистого, а светло-алого цвета зари, так она рдела перед новым господи-

ном. Он узнал сразу родину этой женщины.

— Да, она с архипелага, — подтвердила мать.

И чтобы доставить удовольствие заботливой матери, он благосклонно поглядел на другую женщину. От волнения она была желто-оранжева, как лимон.

— Я таких не видывал, — сказал он с удивлением.

Мать объяснила:

— Она из Афганистана, есть такая гористая и варварская страна. Ну что же, ты одобряешь мою покупку?

— Она хороша, — ответил он.

И он услышал неистово срывающийся голос из мастерской:

— Ты говоришь — хороша, Махмуд?

— Горлица!..

— Горлица смерти, Махмуд!

Удивительные люди эти женщины! Что он мог сказать матери? Не мог же он сказать любимой и уважаемой матери, что ее покупка и не нужна и плоха! Во-первых, покупка хороша, а во-вторых, рабыни будут помогать матери. Мать должна отдохнуть, он часто отвлекал Даждю от хозяйственных дел, читая ей стихи, и старухе приходилось чистить дом и ухаживать за козами. А теперь появился еще конь, да и мало ли что еще появится... А ребенок? Как можно забыть о ребенке?!

Он вбежал в мастерскую и хотел обнять подругу. Она отклонилась от него резким и быстрым движением:

— Она купила двух женщин! Женщин?!

Возбужденный славой, он не вдумался в ее слова о женщинах и сказал:

— Тщеславие старухи простительно.

— Для тебя?!..

Он шлепнул ладонью по ее плавному плечу и, смеясь, сказал:

— Для меня вечное блаженство с одной. — И он прочел ей стихи, которые сочинил дорогой:

Мой нежный друг! Неужели ты забыла недавнюю  
любовь?  
Неужели ты можешь спокойно и беззаботно спать?  
Не я ли восклицаю тебе: проснись!  
Проснись, моя прелестная роза, мой благоуханный  
цвет.  
Проснись. Заря встает! Я пришел к Тебе!

— Убей их! — сказала она, приблизив к нему то самое наполненное страстью лицо и отуманенные глаза, которых ждал он. — Убей!

— Убить? Зачем?

— Зарежь их! — воскликнула она. — Они тебе куплены на любовь. Но ты их любить не должен.

И со снисходительностью мужчины, который не совсем понимает женщину, и почти наслаждаясь ее ревностью, он проговорил:

— За рабынь заплачены деньги. Надо их, раз ты желаешь того, продать.

Она сказала:

— Но они тебе куплены на любовь, а если куплены на любовь, честь не позволяет уже теперь продавать их! Так в моей стране не происходит. Их нужно уничтожить!

— Законы Багдада — иные.

И он оглянулся на Багдад, освещенный последними ярко-красными, самого густого цвета розы, лучами солнца. Мать Бэкдыль держала коня, который тяжело дышал, словно понимая смятенное состояние духа своего

хозяина. Рабыня из Афганистана взяла у матери повод уздечки.

Он подошел вплотную к Даждье. Губы ее прыгали, обнажая два ряда мокрых и белых зубов. Он поцеловал ее, но поцелуй не был целительным. Она, оторвав от него губы и откинув стан, положила ему руки на плечи и сказала:

— Разве Закон твоей страны не принадлежит мне? А мой — тебе? Ты меня любишь? И ты умертвишь их?

— Я не понимаю, зачем мне умерщвлять их?

— Я — княжна. И неужели ты будешь спорить из-за каких-то рабынь ради любви княжны? Я — княжна страны Русь! А одна из этих — византийка, а другая — просто падаль.

— Это будет избиением беззащитных!

— Жертву моей стране, по ее Закону, ты считаешь избиением?

— У вас искаженное понятие о Законе! И мне понятно, что ваша княгиня Ольга переменила Закон. Уж лучше византийский, чем такое искажение...

— У меня искаженное понятие о Законе? — проговорила она с ужасом. — Моя любовь — искаженное понятие?

Руки ее скользнули, чуть коснувшись его лица, и она, быстро пройдя дворик, скрылась в доме. Послышалось качание колыбельки, заплакал было ребенок, а затем утих. Должно быть, она кормила его.

Он стоял, прислонившись к притолоке, ошеломленно раскрыв широкий рот. И вдруг он почувствовал во рту едкий и соленый вкус. Он провел ладонью по лицу. Это были слезы.

Что произошло? Он, такой сговорчивый с ней, и она, такая сговорчивая с ним? Не оттого ли, что она кормит ребенка?.. Но он?..

— Мать, — сказал он тихо. — Что с нею? Что за странная пылкость? Она требует — зарежь двух невольниц!

— Я слышала, — ответила мать, — могут быть и глупые законы, но это самый глупый. Не надо ее поощрять.

— Она поссорилась с этими двумя?

— Бросив на них только один взгляд? — И мать добавила: — Мало ли что скажет влюбленная! Такие проворные и сытые рабыни — и вдруг зарезать? Я их так долго выбирала — и зарезать? Закон?! Много стоит страна с такими глупыми законами! Она сама выдумала этот злобный Закон! Нет, сын, нельзя поощрять ее к таким разорительным поступкам.

Он вошел в дом.

Хотел было подойти к дверям, за которыми подруга качала, по-видимому, ребенка, но не смог.

Поднявшись на крышу, он сделал вдоль нее несколько шагов, пересек ее раза три, а затем, склонившись через парапет, еще теплый от солнца, которое уже скрылось, крикнул вниз матери:

— Мать! Поди убеди ее, что моя любовь неизменна. У меня не находится приличных такому случаю слов! Я ее люблю! — повторил он громко, во весь свой гремящий голос. — А ей мало!..

Снизу, от дверей, донесся голос Дажды:

— Любовь должна быть деятельной. Докажи! Убей их. Я хочу поцеловать нож, покрытый их кровью! Вот он, последний из но-



жей, над которым мы работали вместе. На нем орнамент из роз и три лепестка на лезвии. Видишь? Возьми этот нож и убей!

— Никогда.

— Никогда?

— Иди сюда, Даждья, — позвал он тихо. Ему ответил стон.

— Мать! Почему она молчит?

На крышу вбежала мать. Привыкшая подниматься по лестнице, она на этот раз запыхалась.

— Я нашла ее лежащей ничком! — крикнула мать. — Я так плотно ее кормила! Я так радовалась этой покупке!

## XL

Попировали славно! Кади Ахмет, отягощенный вином, хорошим поведением своего ученика и плохим — Джелладина, садился на мула, чтобы ехать домой и рассказать там подробно о пире. К нему подошел евнух и сказал, что визирь повелел кади немедленно явиться к нему.

— Не находит ли визирь, что несколько поздновато нам видеться? — спросил кади.

Евнух ответил, что визирь не находит этого, и кади повиновался.

Путь от дворца халифа до дворца визиря — короткий. Однако кади, услаждая и свой путь, и путь евнуха, успел поделиться с ним своими воспоминаниями о константинопольских банях и массаже. А какое сладкое миндальное тесто и как оно приятно после бани!.. А женщины, тело которых белей и слаще миндального теста!.. Багдад, конечно, лучше, но

когда у вас жена и полнолуние... Кстати, сегодня будет, кажется, полная луна?..

Визирь сказал кади:

— Мы с тобой не успели потолковать о Константинополе. Я был очень занят, прости, а теперь вот освободился вечер, и я призвал тебя. Ты не устал?

Кади, улыбаясь, ответил, что разве он может устать на пиру, но вот не устал ли ты, о визирь?

Визирь сказал, что не устал, к тому же беседа будет коротка. Он приказал подать кофе, а затем спросил:

— Что же ты нашел полезного для нас в Константинополе?

Кади, захлебываясь от восторга, сказал:

— О визирь! Я открыл великую тайну.

— Вот как?

— Я узнал поразительную вещь, и совершенно случайно!

— Тем более поразительно. Горю нетерпением узнать ее.

— И ты узнаешь, о визирь! Слушай. Мне понадобилось починить одежду. Смотрю — шьют с чудовищной быстротой. Почему? А потому, что у нас — кожаные наперстки, а византийцы делают их железными. Железными, о визирь! Железными! Вот что нужно сообщить всем, и мы будем все одеты, обуты, и не будет тогда нищих, босых, оборванных. И ради интересов государства...

— А не лучше ли тебе поискусней судить интересы базара и не думать о государстве? — зловеще спросил визирь.

Кади побледнел и замолчал.

— Мне думается,— сказал визирь, — вы немногому научились, сопровождая эдесскую

святыню. — И, помолчав, он спросил: — Кто составил песню «Я приду к Тебе»? Песню о ноже, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие — тремя полураспустившимися лепестками?

— Такие ножи делал оружейник Махмуд.

— А такие песни кто делал? Я знаю о ножах, а я спрашиваю тебя о песнях. Молчишь?

— Но, всемилостивейший, он не пишет таких песен!

— Какие же песни он пишет?

— Я предлагаю тебе, всемилостивейший, выслушать его.

— Он сегодня мог их прочесть и не прочел. Почему? Быть может, ему не хотелось тревожить византийцев? Быть может, это византийцы покупали у него кривые ножи и платили чистым золотом, вес за вес?

«О Джелладин! — подумал кади. — Узнаю твой язык».

Визирь продолжал:

— Не скажешь ли ты мне, откуда стало известно византийцам, что русская княжна Даждья находится в Багдаде? Халиф, да будет прославлено имя его, очень интересуется этим. Мы ведь могли перепродать княжну в Вавилон или Индию, а византийцы упорно утверждают, что она в Багдаде! И почему они ее требуют? Не требуют ли ее, в свою очередь, у византийцев — русские? Ты не находишь?

— Возможно, о всемилостивейший, — пролепетал кади, вытирая мокрый лоб.

— Я тоже нахожу, что возможно. Но откуда русские могли узнать, что княжна именно в Багдаде?

— Ума не приложу, всемилостивейший!

— А не находишь ли ты, кади, что начальник вашего конвоя Махмуд побеседовал на эту тему с русскими купцами?

— Он виделся с ними один раз, всемилостивейший. Он боролся с их богатырем, и он не понимает их языка!

— Ты уверен в этом, кади?

— Я знаю это, о всемилостивейший!

И кади подумал: «Звезда Закона, Джелладин, узнаю твои шаги! Ты был здесь».

Вошел плечистый, с громадным черным зевом, человек. Кади вначале подумал, что несут кофе. Плечистый нес мешок. Поклонившись визирю и не обращая внимания на кади, плечистый, скривив своей черный зев, опустил мешок на ковер у ног визиря. В мешке что-то перекатывалось, точно камень по сухому песку.

— Раскрой, — сказал визирь.

Плечистый человек раскрыл мешок. Визирь наклонился и, с интересом пошарив рукой в мешке, достал оттуда голову эмира Эдессы. С головы сыпалась окрашенная розовым соль. Визирь вглядывался, видимо надеясь увидеть страх в лице эмира. Но губы эмира были сжаты, и глаза не опускали век.

Визирь спросил:

— Не находишь ли ты, кади, что отрубленная голова всегда кажется короткой? А у этого эмира была длинная голова и еще более длинный язык.

И кади подумал еще: «О Джелладин, о проклятый язык проклятого Закона! Будь же и ты проклят».

И кади сказал:

— Я всегда в восхищении от твоего остроумия, о визирь!

Визирь продолжал, указывая на плечистого, с ртом длинным и грязным, как канава:

— Я дал ему свой любимый нож с орнаментом из семи роз и тремя лепестками на лезвии. Нож этот он употребляет вместо моей печати, исполняя мои приказания, которые есть приказания халифа. — Он взял пергамент и, глядя в него, сказал: — Итак, разыскивается в Багдаде русская княжна Даждья, дочь князя Буйсвета, сестра витязей Спавида и Гонки. Ты знаешь, кому и когда продаются рабыни, ты ведь базарный судья. Ты помнишь также, что мы неоднократно издавали приказы — обращаться с рабами милостиво. Но наши приказы не исполняются. Возможно, что не исполнен приказ и в отношении рабыни Даждьи. Быть может, ее нет в живых, кто знает? Или, вернее сказать, знает один Махмуд, ха-ха-ха! В таком случае, — я говорю о неисполнении нашего приказа, — человек, не исполнивший его, будет строго наказан. Его голову мы вынуждены будем положить в этот мешок с солью и выдать мешок и голову византийцам. Что поделаешь. Таковы законы дружбы. Халиф обещал выдать княжну. Труп ее выроешь и также передашь византийцам.

И визирь толкнул ногой мешок с солью, из которого была только что вынута голова эмира Эдессы.

— Голову эмира положи в новый мешок, — сказал визирь, — а с этим мешком поедешь вслед за кади Ахметом, куда он укажет. Так повелел халиф...

Кади низко поклонился и сказал торопливо:

— Да будет прославлено имя его! — Затем он добавил: — Мне не нужен мешок, о визирь. А того менее нужен человек с ножом. Даждья жива и через час, не позже, будет у тебя.

— Все-таки человека с ножом возьми. Вдруг окажется, что женщина привыкла, не захочет уйти или ее не будут отдавать?

— Она будет здесь, о визирь! Человек, у которого она находится, хотя и любит ее, но халифа любит больше.

— Кади, ты плохо выбираешь слова. Любовь к рабыне ты осмеливаешься сравнивать с любовью к халифу!

— О, прости меня, визирь! Ум мой ослабел от забот.

— Вот поэтому я и думаю, что человек с ножом будет полезен тебе. Идите. Комнатный воздух ранней весной несколько расслабляет меня, я пойду отдохнуть, кади.

## ХЛІ

Влезая на своего гнедого мула, кади Ахмет пробормотал то, что висело у него на языке во время всего разговора с визирем, но что, разумеется, он не осмелился бы сказать визирю никогда, разве лишь увидав голову его в соленом мешке:

— У нас так торопливо снимают головы, точно нет других твердых предметов для мощения багдадских улиц.

И кади испуганно оглянулся. Плечистый человек сопровождал его на коне в почтительном отдалении.

Кади размышлял и не торопил своего му-

ла. Да и что он скажет другу своему Махмуду? Одно лишь — что плохо помогла эдесская святыня и византийцам и арабам, и если произошло чудо, то плохое! Возлюбленную придется отдать. Жаль. Она превосходно сложена и высокого рода. Ну что ж. Поэты быстро забывают своих возлюбленных, это ведь не стихи. Кстати, о стихах. Это происшествие даст ему повод написать хорошее стихотворение, а быть может и поэму.

— В конце концов, Багдад имеет свои преимущества, — бормотал кади, утешая себя. — Для меня, во всяком случае. Я судья и сужу дураков, и это умирительно, даже и тогда, когда меня четвертуют за то, что я их судил плохо. Затем, я вернулся из опасного пути в Константинополь, где пил хорошее вино, и, кажется, отделался довольно легко. В Багдаде я и величествен, и немножко смешон. В Константинополе я был только величественным. И, наконец — я забыл? — здесь моя жена, которая мешает мне быть и окончательно величественным, и окончательно смешным. Что мне еще нужно?

И он вздохнул. Ему хотелось, чтоб Махмуд был счастлив. Но только один аллах, если это вообще возможно, знает, сытый человеческими путями, куда и к какому счастью их направить. А что он может сделать, он, слабый кади?

Путь его лежал через базар. Базар шумел. Кади проехал уже половину базара и увидел вдали кофейню, в которой хотел угостить Махмуда яблочным пирожным. Ему стало тяжело, и он повернул мула.

— Самый короткий путь, — сказал он, — не всегда самый удачный.

И он поехал окольной дорогой, которая проходила мимо тайного кабака. Он оставил плечистого сторожить своего мула и долго пил вино, наслаждаясь, что палач сидит без вина и что его черная пасть суха.

Затем он сказал содержателю притона:

— Я пивал и лучшее вино, а это ты разбавляешь водой, и, собственно, тебя б надо судить, но я устал от правосудия Багдада.

Но все же он вылил остатки вина в свою тыквенную баклажку.

И кади опять направился к базару.

Светила полная луна, и лавки были, за исключением отдельных кофеен, закрыты. Шныряли зубастые собаки. Он вспомнил свой рассказ о пророке Иссе и о красоте дохлой собаки, когда-то рассказанный им Махмуду, и кади снова загрустил. Вино не помогало. Вот он, друг Махмуда, собака, которой бы охранять его покой, едет, чтобы оторвать друга от теплого стана возлюбленной, от ее ослепительной груди, похожей на две луны в облаках тела, которой тот касается сейчас всем лицом, как мул кади касается земли всеми копытами. О ты, судья! Что ты везешь? Кого ты судишь? Ты гибелью, как плитами, хочешь выстлать полы жизни твоего друга.

Такие размышления были чересчур отягочительны. Душа его болела. Он счел благовременным стегнуть своего мула. Мул, однако, не спешил и не прибавил шагу. И кади Ахмет позавидовал своему мулу.

— Страдания животных многочисленны, — сказал кади Ахмет, — но неоспоримое преимущество их в том, что животные не знают грязного коварства Закона и среди них не бывает Джелладинов.



Наконец он подъехал к домику Махмуда и постучал в ворота своего друга тыквенной бутылкой, отполированной до блеска долгим употреблением.

Обнимая мертвую Даждю, Махмуд стоял перед ней на коленях. Лицо ее было повернуто к луне, деятельно льющей свой свет и медленно подвигающейся по грузному весеннему небу. Он целовал горло жены, желая остановить поцелуями кровь, которая текла теперь так же медленно, как луна, и лицо его, и молодая курчавая борода его были темны от крови.

— Мать, — сказал он, — стучится друг. Отвори. Так он всегда стучал в Константинополь, когда мы привезли туда эдесскую святую.

Мать Бэкдыль, желая утешить его, кричала первые попавшиеся слова. Она кричала, что любовь тем и хороша, что быстро проходит. И она кричала, что остался ребенок, и кто теперь будет кормить его. И она кричала, что вот стоят возле две сильные и вполне доступные девушки и не помогают горю. И она подскочила к рабыням:

— Что же вы молчите? Когда не нужно, вы многословны? Что вы растянули рты?

И так как те действительно растянули рты в улыбке, ибо они слышали, что старшая жена требовала их смерти, и они испугались, то мать Бэкдыль с громкой и подходящей к случаю бранью ударила их по широким твердым щекам.

И тогда соседи, прислушивающиеся к воплям, сказали, что у матери Махмуда иль-Каман, госпожи Бэкдыль, крутой характер.

Махмуд же повторил:

— Мать, открой. Мне нужен друг, и он стучится.

Въехал на своем гнедом муле кади Ахмет. Он сказал:

— Где твоя горлица?

— Вот моя горлица, — ответил Махмуд, и он возопил: — Она впустила себе в дыхательное горло мой кривой нож!

И он опять упал перед ней на колени и схватил ее мизинец своим указательным пальцем так, как делал когда-то, в начале их любви. Мизинец был холоден и тверд, как гвоздь, и словно холодный гвоздь вошел в его сердце.

Кади спросил, так как не знал, что спросить иное:

— Это — Даждья, дочь Буйсвета?

— Это была Даждья, — ответил, не поднимая головы, Махмуд.

И опять, не зная, что сказать, сказал кади:

— Это умерло твое счастье, Махмуд.

— Да, ты прав, друг, — ответил Махмуд.

И так как он видел тень за спиною кади и думал, что это Джелладин, Махмуд поднял голову. Незнакомый плечистый человек раскрывал мешок, где при свете луны синевато поблескивала крупная соль. За поясом его Махмуд увидел кривой нож, и он, знающий свою работу, узнал нож, который он преподнес визирю. Он не удивился. Визирь волен дарить ножи кому хочет. Но Махмуд желал узнать, зачем здесь этот плечистый, с широким, как канава, ртом.

И Махмуд спросил:

— Кто это?

Плечистый человек сказал, вынимая нож:

— Подойди сюда и наклони голову. Спешу.



## XLII

Так жил и умер поэт.

Он жил и умер в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи, да будет прославлено имя его!

Он умер, но он и жил.

Когда началась великая война с византийцами, его воинственные песни воскресли и, словно сверкающий меч, встали над Багдадом и ринулись в самую гущу боя! И говорят, что мертвая голова поэта, которая, вместе с трупом Дажды, увезена была нечестивыми византийцами в Константинополь, встала над бегущими в страхе врагами, и голову эту держал в руках призрак синеглазой, светловолосой Дажды. И смеялась, торжествуя, голова, и смеялся прижимавший ее к своей груди призрак!

Таков конец романа о поэте Махмуде, об его друзьях и врагах и об эдесской святыне. Не будем судить ни его, ни друзей, ни подруги, ни визиря, ни халифа. С тех времен прошла тысяча лет, и имена их давно забыты. Забыты и песни Махмуда иль-Каман, и только иногда молодой араб, укрываясь от жгучего ветра пустыни за холмом, в своем рваном коричневом шатре, споет песню о возлюбленной, которую он еще не знает, и в песне этой упомянет о судьбе, кривой, как нож, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие тремя лепестками. Араб поет, но кем и когда написана песня, он не знает. Да и нужно ли ему знать?

*11 сентября 1946 года,  
Рижское взморье*

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Сокол . . . . .	3
Сизиф, сын Эола . . . . .	26
Агасфер . . . . .	53
Медная лампа . . . . .	121
Эдесская святыня ( <i>роман</i> ) . . .	148

---

ИБ № 3881

**Всеволод Вячеславович Иванов**

**МЕДНАЯ ЛАМПА**

Редакторы В. Фалеев, Т. Журавлева

Художник В. Смирнов

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Г. Варыханова

Корректоры В. Авдеева, Г. Василёва

Сдано в набор 14.03.84. Подписано в печать 09.08.84.  
А00778. Формат 70×90<sup>1/32</sup>. Бумага типографская  
№ 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 11,11. Усл. кр.-отт. 11,39. Учетно-изд.  
л. 11,4. Тираж 100 000 экз. Цена 80 коп. Заказ 2328.

Типография ордена Трудового Красного Знамени  
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес  
издательства и типографии: 103030, Москва,  
К-30, Суцневская, 21.

20 коп.

МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ